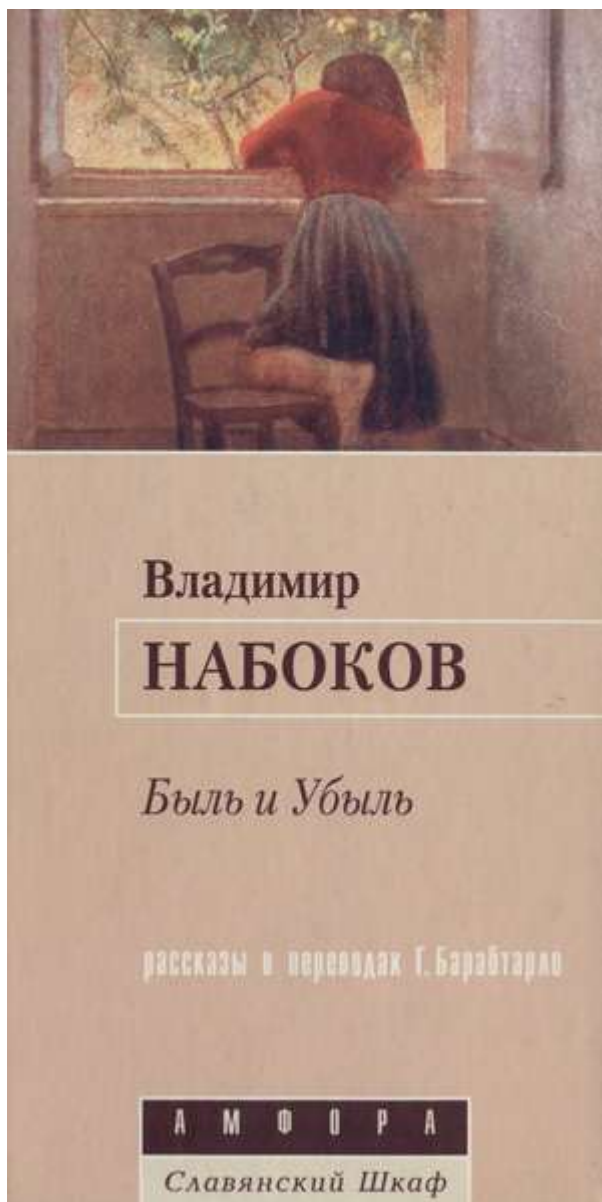


Владимир Владимирович Набоков
Быль и Убыль [сборник рассказов]



«Быль и Убыль: Рассказы»:
Амфора; СПб.; 2001; ISBN 5-94278-004-8
Перевод: Геннадий Барабтарло

Аннотация

Эта книга откроет вам нового Набокова. В нее вошли рассказы, прежде публиковавшиеся только в журналах и не известные широкому кругу читателей. Великий прозаик не устает экспериментировать со стилем и с поисками новых тем.

Новозеландец Брайан Бойд, непревзойденный знаток Набокова, остроумно заметил:

«...он похож на знаменитого жонглера, подбрасывающего в воздух и очень ловко ловящего одну-единственную чашку (впрочем, не порожнюю), между тем как всем известно, что он может с легкостью работать с прибором на шесть персон».

Тексты были любезно подготовлены Геннадием Барабтарло специально для данного издания и приводятся в пунктуации и орфографии Владимира Набокова и переводчика.

Содержание:

- Весна в Фиальте
- Забытый поэт
- Первая любовь (Colette)
- Условные знаки
- Помощник режиссера
- Пильграм
- Облако, озеро, башня
- Жанровая сцена, 1945 г
- Что как-то раз в Алеппо...
- Быль и убыль
- Сцены из жизни сиамских уродцев
- Mademoiselle O
- Ланс
- Сестры Вейн

Предисловие переводчика

1. Historia

Всех рассказов, сочиненных Набоковым по-английски, девять, и ни одного из них он сам не перевел на русский язык. Все они были написаны в сороковые годы и в самом начале пятидесятых, вскоре по переселении в Америку, и во всяком случае первые пять как-будто для разгону пера и житейских нужд (говорю не о качестве их, но о роде). Они появлялись в самых лучших американских журналах, и главным образом благодаря им, да еще мемуарам, которые главами печатались в тех же журналах, Набоков сравнительно скоро получил в Америке первоначальную известность превосходного писателя необычайной изобразительной силы и новой манеры.

Если человек, вследствие того, что на языке беллетристики называется превратности судьбы, пишет сначала на родном языке, затем (правда немного) на другом, затем окончательно переходит на третий, причем переводит по мере надобности свои писания с первого и со второго на третий, и изредка с третьего на первый и даже на второй, то происходящая от этого чудовищная библиографическая путаница не только неизбежна, но и в известном смысле желательна, поскольку она сама собою напоминает и даже твердит об этих превратностях. Я думаю, что по этой причине более всего, а не только в угоду знаменитой своей педантической точности, Набоков неизменно помещал подробные справки о месте и времени публикации каждого рассказа всякий раз, что к тому представлялась возможность, и я следую его примеру имея в виду приблизительно ту же цель.

В 1947-м году он собрал девять рассказов в (английскую) книгу под названием *Девять рассказов*, но только пять из них были написаны собственно по-английски, тогда как три были переводами с русского и один с французского.

«Пильграм», «Облако, озеро, башня» и «Весна в Фиальте» впервые появились по-русски в *Современных Записках* в 1931-м, 1937-м, и 1938-м годах, а потом в книгах *Соглядатай* (Париж, 1938) и *Весна в Фиальте и другие рассказы* (Нью-Йорк, 1956). «Mademoiselle O» Набоков написал по-французски и напечатал в 1939-м году в парижском журнале *Мезюр*, затем перевел, с помощью г-жи Хильды Вард, для бостонского ежемесячника *Атлантика*, и наконец, кое-что переделав, поставил пятой главой в свою автобиографию *Убедительное доказательство* (Нью-Йорк, 1951).

В 1958-м году Набоков издает новую книгу английских рассказов, которая называется *Набокова дюжина*. К девяти прежним добавились еще четыре: «Первая любовь», «Условные знаки», «Из жизни Сиамских уродцев» и «Ланс». Рассказ «Первая любовь», написанный по-английски, появился сначала в *Нью-Йоркере* под названием «Colette», а затем седьмой главой вошел в автобиографию. Набоков и его жена сами перевели и его, и «Mademoiselle O» вместе с прочими главами для русского издания *Другие берега* (Нью-Йорк, 1954), но не дословно, а с некоторыми переменами (и эти-то русские переложения я здесь помещаю).

Английские подлинники всех остальных рассказов, кроме «Сестер Вейн» и «Сиамских уродцев», были впервые напечатаны между 1943-м и 52-м годом в *Нью-Йоркере* и в *Атлантике*. Об «Уродцах» ниже, а что до «Сестер Вейн» (1951), то *Нью-Йоркер* печатать его отказался вследствие чувства странного и скорее неприятного недоумения, которое этот рассказ вызвал у редакторов. К одному из них, Катарине Байт, с которой Набоков был в дружеских отношениях, он тогда же написал по этому поводу длинное и изумительно откровенное письмо, где указывает тайные тропы рассказа, объясняет его скрытую этику и дает понятие о его мистике, каковая, по его словам, свойственна всем его новым произведениям, в частности написанным незадолго перед тем «Условным знакам». Тем не менее «Сестры Вейн» появились в печати (в *Гудзонском обозрении*) только в 1959-м году, а потом вошли в нью-йоркские книги *Квартет Набокова* (1966), *Сборник Набокова* (1968) и *Истребление тиранов* (1975).

Такова краткая, но по необходимости петлистая библиографическая история этих рассказов. Суммирую для тех, кто скользнул по ней наискось: из четырнадцати собранных здесь произведений три («Пильграм», «Облако, озеро, башня» и «Весна в Фиальте») были написаны Набоковым по-русски; два («Первая любовь» и «Mademoiselle O») переведены им самим с английского и французского, а девять прочих, написанных по-английски, переведены мною.

Все эти девять английских рассказов я перевел на русский язык в половине восьмидесятых годов, и по заведенному еще во времена работы над *Пниным* обычаю, Вера Набокова, вдова писателя, читала и поправляла эти переводы. У нее было редкое чутье слова, причем она предпочитала неяркую английскую манеру выражения, которая, остерегаясь чрезмерной красочности, предписывает нарочитую сдержанность и недосказанность и оттого оставляет больше места воображению. Я очень дорожил ее мнением и советами, избавившими мою работу от множества несуразиц и прямых ошибок. Но ей было далеко за восемьдесят, ее одолевала физическая немощь, наши сидения вместе раз от разу сокращались, темпы работы все замедлялись, и мы успели приготовить для печати, да и то несколько второпях, только три рассказа: «Алеппо», «Забытого поэта» и «Условные знаки», и эти сыроватые переводы были отданы мной, по ее предложению и по стечению обстоятельств, в своеобразный журнал *Стрелец*, где они появились в 1988-м (№ 8) и 1989-м (№№ 1 и 2) году, а потом, уже без моего ведома и участия, в каких-то московских памфлетах этого между-континентального издания.

Г-жа Набокова начала было править перевод «Ланса», но дело затянулось. С ее смертью в 1991-м году, по разным причинам частного и технического свойства пришлось отложить русское издание коротких английских произведений Набокова отдельной книгой, хотя и сын его, и я несколько раз возвращались к этой мысли. Более всего, пожалуй, мне хотелось предпринять это издание оттого, что за последние десять лет количество скверных самодельных переложений Набокова, появившихся на территории бывшей России, выросло неимоверно.

Здесь не место распространяться об этом проливном дожде кустарщины, тем более что в самом начале, когда еще только накрапывало, мне уже случалось писать об этом бедствии в американских журналах; приведу оттуда только два главных пункта. Прежде всего, все без изъятия переводы Набокова, напечатанные в Советском Союзе и его позднейших формациях (кроме *Пнина*, неисправно переизданного в февральской книжке *Иностранной литературы* за 1989-й год и, кажется, нескольких самых последних публикаций) напечатаны в нарушение установлений как юридических, так и нравственных. Знаменитая ссылка на «Правило 1973-го года» (то есть когда в Совдепии из политической и коммерческой выгоды решили подписать известные международные соглашения об авторском праве) особенно странно звучит на устах у людей, в свое время как-будто отказывавшихся признавать советские варварские установления и причуды, особенно в области *прав автора*. С нравственной же стороны не может быть оправдания произвольной публикации переводов, а равно и оригинальных сочинений, без ведома и позволения наследников.

Но иное дело русские произведения Набокова, перепечатываемые в благих или низких видах, наивными людьми или барышниками, по своему разумению или произволу, и иное – переводы. Невозможно переводить английские сочинения Набокова, доведшего русский литературный язык до вершин художественного выражения, на оскудевший и продолжающий вырождаться язык советского времени, который теперь в общем употреблении. Самодельные переложения, о которых я здесь говорю, конечно, отличаются один от другого познаниями, одаренностью, прилежанием, и наконец намерениями переводчиков, но вследствие врожденного дефекта речи и лучшие из них неудовлетворительны, даже когда намерения эти благие, а исполнители даровиты и сведущи.

Набоков, предвидя худшее (как оно ему издали представлялось), сам переписал *Лолиту* по-русски¹. Но он, конечно, не мог вообразить ни степени, ни стремительности запу-

¹ Впрочем, даже и тут были попользования самосильно перевести роман на преобладающий диалект, потому что среди советской интеллигенции распространено было суждение, довольно наивное, что «Набоков в эмиграции забыл русский язык».

стения и засорения, одичания и испошления, и вообще всеместного разложения и *подмены* русского языка в Советском Союзе даже и в его времена, не говоря уже о наших, не то он может быть отложил бы все прочие занятия и остаток жизни посвятил бы переводам своих английских сочинений на родной язык, одним из немногих совладельцев которого он оставался. Этого, как известно, не случилось, а вместо него поднять этот труд теперь уже некому, и с этим грустным положением вещей надо примириться. Ведь русский язык сделался на наших глазах языком классическим, т. е. мертвым, который и нынешнему поколению, и будущим, надо бы изучать в гимназиях, чтобы научиться на нем хотя бы читать и писать, коли нельзя говорить, – да ведь некому и учить. Переводы именно Набокова – единственного русского писателя, сочинения которого нуждаются в переводе на русский язык (и печатаются в журнале *Иностранная литература!*) – в таких условиях должны быть, по моему глубокому убеждению, или оставлены вовсе до лучших времен «классических гимназий», как дело заведомо обреченное и неподобающее, или уж производиться со всей возможной осторожностью и всяческим смирением, побуждающим, между прочим, постоянно и беспрекословно справляться с сопоставительным англо-русским лексиконом самого Набокова, т. е. с его русскими книгами и их английскими переводами с одной стороны, а с другой, с собственными его переводами на русский язык автобиографической книги и *Лолиты*².

Все сказанное вовсе не следует понимать в том смысле, что мои-то переводы, собранные в этой книге (как впрочем и вышедший в 1983-м году русский *Пнин*), свободны от разнообразных и многочисленных недостатков языка и слога, и возможно и ошибок в толковании оригинала (хотя я и желал бы думать, что, после стольких трудов, незамеченных ошибок последнего рода не осталось). Напротив, несмотря на то, что каждый рассказ был переделан мною по крайней мере пятикратно, явные и неказистые погрешности заново бросаются в глаза всякий раз, что случается пересматривать мои «слепки» по прошествии времени. Предпоследний такой случай представился недавно, когда я редактировал семь рассказов для нью-йоркского *Нового Журнала* (№№ 200-й и 207-й за 1995-й и 1997-й год), но вот теперь, готовя эту книгу, я обнаружил множество мест, требовавших новых перемен, и эта неустойчивость, и, так сказать, скорая порча текста, внушают мне тревогу частного характера. Увы, в книге, где рядом и в череду с русскими подлинниками Набокова помещены посильные подражания, ни недостаток опыта, ни даже избыток добродушия не помешают читателю заметить разность между настоящим ореховым деревом и фанерой «под орех».

И однако у этой моей работы есть два взаимозависимых преимущества перед другими: она была просмотрена и отчасти исправлена людьми, не только прекрасно владевшими обоими языками, но и особенно хорошо знавшими язык Набокова. И затем это перевод решительно дословный (в том значении и объеме этого термина, каковые ему придавал Набоков, когда переводил *Евгения Онегина*) и стало быть сознательно избегающий вольностей, а в тех редких случаях, когда вольность, или вернее замена, неизбежна и оттого даже желательна, пользующийся порой привилегией специально полученного *imprimatur'a*. Должен сказать, впрочем, что за вычетом трех переводов, напечатанных при жизни Веры Набоковой, я один отвечаю за все пороки и прорехи в остальных, хотя они и печатаются с ведома и дозволения наследников.

2. Theoria

Повторяю, переводы всех девяти рассказов, написанных Набоковым по-английски и никогда им самим не переведившихся, были тщательно переделаны для этой книги против предыдущих журнальных публикаций (впрочем, «Ланс» и «Сиамские уродцы» никогда прежде не печатались). Позволю себе несколько замечаний по поводу некоторых особенно важных мест в этих рассказах, которые могут затруднить читателя или не удостоиться его

² Имеется, например, чрезвычайно полезный, хотя и неполный, англо-русский словарь *Лолиты*, составленный профессором Паперно и профессором Нахимовским.

внимания.

Название «...Что как-то раз в Алеппо» взято Набоковым из финала *Отелло*, где генерал произносит эти слова перед тем как покончить с собой. Согласно интересному, хотя и весьма спорному предположению профессора Долинина, безымянный повествователь убил, быть может из ревности, свою бледно-расплывчатую, пышноволосяную жену и стоит (это-то бесспорно) на пороге самоубийства.

Стихотворения «забытого поэта» в «подлиннике» не имеют ни размера, ни рифмы, потому что предполагается, что они суть английские переводы русских стихотворений Перова! Им нужно было придать форму, естественную для стихов русского поэта половины девятнадцатого века.

Английское название «Условных знаков», *Signs and Symbols*, имеет помимо отдельного значения обоих слов и устойчивое совместное – так называется перечень обозначений в углу географической карты. Вопрос о том, кто и с какою вестью телефонирует в последнем предложении несчастным родителям повредившегося в уме юноши обсуждался в невероятных тонкостях в десятках ученых статей западных исследователей, – разумеется, безо всякого удовлетворительного ответа, и оттого, что к телефону некому подойти, он продолжает звонить, покуда не начнешь читать рассказ сначала, что и было, вероятно, замыслено автором, любившим замкнутые композиции.

В рассказе «Быль и убыль» (см. примечание к нему, где объясняется выбор названия), Набоков пользуется необычным изводом известного приема «остранения привычного». Вместо того, чтобы прикладывать увеличительное стекло к обыденной действительности и делать ее *странной* для глаза, он отводит точку зрения на семьдесят лет вдаль от этой действительности и рассматривает ее в телескоп с дозорной башни будущего совершенного. Таким образом читатели повести девяностолетнего «мемуариста» и читатели рассказа Набокова живут в разных веках, и современник видит свое время как бы в отражении и вместе узнает и не узнает его. Как это часто бывает у Набокова, последнее предложение, по обыкновению особенно напряженное и ветвистое, особенно важно для понимания всей вещи. Упомянутого там озера на свете нет.

Изо всех собранных здесь рассказов, пожалуй, только «Помощник режиссера» и «Жанровая сцена, 1945 г.» не принадлежат к числу лучших произведений Набокова. Можно даже сказать, что среди его зрелых рассказов это самые слабые. Причина здесь та, что оба они написаны вскоре по переселении в Америку, когда Набоков менял родной, прирученный язык как средство и душу художественного выражения на язык усвоенный, и хотя он владел им превосходно сызмала, все же есть огромная разница между своей рукой и самым удобным протезом, как бы ловко им ни орудовал. Сила скоро вернулась и потом даже удвоилась; другое дело чувствительность в кончиках пальцев; протезом можно, может быть, гнуть пятаки, но трудно подбирать их с полу. Впоследствии он сделался виртуозом и тут, но давалось это искусство особенно мучительно, требовало невероятного упорства и мужества, и только ничтожная доля этих мук известна читателю Набокова, да и то главным образом из его частных писем, напечатанных по смерти.

Как я уже говорил, первые американские рассказы, вследствие этих и других причин, были написаны отчасти для упражнения; это была своего рода физическая терапия новых пальцев посредством разыгрывания гамм. Оттого-то эти рассказы первой половины сороковых годов так необычны для Набокова – не в смысле темы (все темы тут все еще русские) или ее обработки (искусно-тщательной), а скорее в смысле отношения или лучше сказать взаимоположения мира данного пяти-шести чувствам – и мира вымышленного. В «Помощнике режиссера» – первом американском рассказе Набокова – действительная история вставлена в прихотливую раму повествования от первого, и весьма осведомленного, лица – причем лица по-видимому духовного (намек на это обстоятельство разсыпаны там и сям). Однако, историческая основа ни в чем не переключена, а только на ней вышит нарочитый узор, и в этом чуть ли не документальном повествовании воображению Набокова явно тесно и немножко скучно.

«Жанровая сцена» еще того теснее: это единственное сочинение Набокова, написанное на злобу дня. Совпадение имени, приводящее в действие прямолинейное комическое *quid pro quo*, вещь нехитрая, и как прием, выбранный явно наспех, он понадобился затем только,

чтобы объяснить присутствие героя среди совершенно чуждых ему людей, каждый из которых представляет собою утрированный и яркий тип американской пошлости известного рода (о немецкой не говорю). И не только присутствие, но довольно долгое *высисживание* этой путаницы, – и все это ради того, чтобы передать разговоры, портреты говорящих, и атмосферу от первого лица. Это похоже на журнальный прием и стало быть непохоже на Набокова. Кажется, что ему хотелось непременно высказаться, тогда же, тотчас, и он одел свое возмущение в один из первых подвернувшихся (и подходящих по размеру) костюмов из своего громадного театрального гардероба.

Разумеется, Набоков мастер своего дела, и искусство композиции, переливы ритма, аранжировка полускрытых ходов, и наконец самый слог и тут на привычной высоте – на том когда-то достигнутом уровне выразительности, ниже которого он был неспособен написать ничего, даже и частного письма. Рассказы эти отнюдь не сырые, а скорее художественно пресные, – сочинения, написанные на темы заданные действительностью, а не навеянные воображением.

«Пильграм» в английском переводе у Набокова называется «The Aurelian», т. е. собиратель и так сказать страстный ревнитель бабочек, лепидоптероман. Заметьте, что там в конце сильное это увлечение, получившее было возможность выхода, стремится прежде всего к перемещению в пространстве: Пильграм собирается на поезд, чтобы умчаться в свой чешуекрылый парадиз, но его вместо этого отправляют неизвестно куда неизвестными путями сообщения.

Страшный рассказ «Облако, озеро, башня», который напоминает о *Приглашении на казнь* не только одним возгласом бедного Василия Ивановича и своим вальсовым дактилическим ритмом, особенно интересен тем, что тут знаменитый «представитель» автора, его необходимый посредник между миром нашим и вымышленным, т. е. иным, появляется в начале и в конце без обычного своего камуфляжа, и его роль объясняется без околичностей прямо в программке. Я, кстати сказать, видел крест с полуистершейся надписью на облупившейся белой краске, стоящий над его могилой на берлинском православном погосте в Тегеле, где похоронен и отец Набокова.

Однажды, в 1950-м году, в нью-йоркской Итаке, чудесном городишке на севере штата, где на крутой горе над продолговатым озером Каюга кремлем расположился внутренний городок Корнельского университета, Набоков за обедом у своего коллеги Бишопа объявил, что намерен писать роман из жизни сиамских близнецов. «Вот уж нет», сказала Вера Евсеевна, которая обыкновенно не вмешивалась в художественные предположения своего мужа. В половине сентября он начал писать не роман, а трех-частную повесть, в первой части которой сросшиеся от рождения близнецы живут у себя на хуторе в турецких, что ли, горах, откуда пытаются бежать; во второй их умыкают в Америку, где они женятся на двух *раздельных* сестрах; в конце же близнецов хирургически разъединяют, причем один умирает тотчас, а другой – повествователь – позже, кончив свою повесть. Однако дело не пошло дальше первой главы, которая была напечатана самостоятельно в 1958-м году в нью-йоркском *Репортере*. Набоков собирался подвергнуть капитальной переделке историю «первоначальных» близнецов Чанга и Энга (1811–1874), привезенных в Америку, разбогатевших и осевших в ней под именем «Бункеров», женившихся в самом деле на двух сестрах (и имевших от них нормальных детей), и умерших один за другим с промежутком в три часа, но при этом не было никаких попыток разделить их. Новозеландец Брайан Бойд, непревзойденный знаток Набокова, остроумно заметил, что в этой начатой и оставленной повести он похож на знаменитого жонглера, подбрасывающего в воздух и очень ловко ловящего одну-единственную чашку (впрочем, не порожнюю), между тем, как всем известно, что он может с легкостью работать с прибором на шесть персон.

«Ланс», написанный в сентябре 1951-го года, был самым последним рассказом Набокова. Едва ли не все его английские произведения, в отличие от большинства русских, следуют трудной, стеснительной модели повествования от первого лица. Несколько редких исключений являют нам темы особенно глубокого залегания, которые требовали известного отдаления и стилистической вуали. В сороковые годы, когда сын Набоковых был подросток (среди прочих небезопасных своих увлечений лазавший на громадные скалы американского

запада) такой темой была родительская любовь, не могущая, в силу своей подлинности, ни ограничивать свободу ее предмета, ни освободиться от страха за его благополучие и самую жизнь. В июле 1949-го года Дмитрий Набоков застрял на отвесном карнизе Пика Разочарования, на восточном хребте Великих Тевтонских Скал в Вайоминге, а его родители ждали его внизу, в уже сгустившейся темноте, в состоянии «управляемой паники», как выразился потом Набоков.

Ланса привлекает к себе звездное небо, которое по этой причине приводит в ужас его отца. Лансом движет жажда искать неведомое среди звезд; его родители не препятствуют ему, ибо любят его несебялюбивой любовью, которая сродни той, что движет самые эти звезды. «Ланс» – вещь в прямом смысле слова головокружительная. Подвиг Ланса показан в ракурсе фетовской ночи³, воронкой раскрывающейся вверх над его стариками-родителями, следящими со своего балкона за его воображаемым передвижением в небесах сквозь двойной туман ночной дымки и слез. Но одновременно (и в этой труднейшей синхронности все дело) этот подвиг изображается в терминах альпинистики и артурова романа, и так как небесные светила, горные вершины, и древние герои могут иметь те же имена, то эти три образа или три плана повествования пересекают один другой, так что не знаешь наверное где именно ты находишься. Гармония взаимопроницаемых стилистических сфер здесь виртуозная, но в переводе ее трудно сохранить неповрежденной. Между прочим, обратите внимание на пример поразительного ясновидения в этом рассказе: Набоков дает на удивление верное описание вида Земли *извне* за десять лет перед тем, как человек увидел ее со стороны («пыль, разсеянные отражения, дымка, и разнообразные оптические подвохи»).

Композиционно книга состоит из двенадцати рассказов, расположенных в порядке, смысл которого мне неизвестен, и во всяком случае не по возрасту, не по роду, и не по росту. Совсем недавно профессор Шуман сделал любопытное наблюдение, что многие ранние рассказы Набокова случайно или нарочно как бы перетекают один в другой, т. е. конец одного часто согласуется с началом другого, и эти цепочки образуют контуры новых невидимых книг сложной архитектуры. Тоже и Бродский, будучи спрошен кем-то, сказал, что у Набокова многое в прозе рифмуется и что собрание его сочинений в целом подчиняется принципу рифмы, т. е. правилу повтора и отзвука. Здесь эта дюжина рассказов окаймлена двумя повестями. «Весной в Фиальте» открывался и русский сборник 1956-го года, и американский 1958-го, и я совершенно уверен в том, что если бы «Сестры Вейн» не были отклонены *Нью-Йоркером* в 1951 году, то Набоков поместил бы их именно в конце своей *Dozen* (как он и поступил через десять лет в *Сборнике*, где «Сестры» идут последним, двенадцатым номером среди рассказов, и в *Истреблении тиранов*, где они заключают книгу). Дело здесь не только в желательности равновесия на обоих концах книги. Обе повести написаны от первого лица человека чрезвычайно, артистически наблюдательного; в обеих необычно тонким слоем разлита печаль; в обеих описана неожиданная смерть женщины, о которой повествователь узнает косвенно. Но в «Сестрах» имеется твердо проведенная, хотя и невидимая невооруженным глазом, *иная* плоскость, и в этой плоскости зоркий к матерьяльным подробностям французский профессор оказывается душою подслеповат и оттого не замечает потустороннего руководства, и тут сказывается различие между двумя повестями, которые разделяет пятнадцать лет и Атлантический океан.

В отношении «Весны в Фиальте» нужно иметь в виду, что главная тема ее не романтическая любовь женатого человека к замужней женщине (из довольно длинной череды неуловимых, зыбких, как бы русалочьих набоковских героинь, черты которых трудно рассмотреть не то оттого что они все время в движении, не то тебе будто соринка в глаз попала), но скорее художественная любовь «артиста в силе» к приморскому городу, кото-

3

«Я-ль несся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис».

рому женщина эта уподоблена. В английском переводе Набоков многое подправил, выяснил, и переменял, и я решил привести для примера главные различия в этой именно повести, чтобы видней были некоторые детали ее внутреннего устройства.

Надо сказать наконец несколько слов о переводе «Сестер Вейн», самом переводоупорном из всех рассказов Набокова, прежде всего оттого, что последний абзац его представляет собою акrostих – ключ к совершенно иному измерению рассказа. Такую штуку, писал Набоков в предуведомлении к одному из изданий, можно позволить себе раз в тысячу лет. Но перевести «такую штуку», конечно, еще много труднее чем сочинить, потому что абсолютно невозможно передать дословно как бы двухмерный текст, где кроме протяженности есть глубина, где кода есть одновременно и код, где на воротах висит наборный замок, причем единственная комбинация отпирающих его цифр должна еще и образовывать гармонически-возрастающий ряд. Но однако можно воспроизвести и функцию, и до некоторой степени механизм заключительного акrostиха, прибегнув к разным ухищрениям и вспомогательным построениям. Так на театре теней силуэт двуглавого орла, образованный проекцией его чучела на натянутой холстине, может быть довольно похоже воспроизведен посредством прихотливо переплетенных пальцев обеих рук.

Я бился над этим последним абзацем «Сестер Вейн» в продолжение довольно долгого времени, и собственно взялся за перевод самого рассказа только после того, как один из вариантов (позднее отвергнутых) показался мне удовлетворительным соглашением между тремя враждующими сторонами: краеграничным посланием; требованием известной близости к подлиннику и в содержании, и в тоне передаваемого; и необходимым здесь условием непринужденности слога (тут надобна апатия Атланта). Что до первого, то мой акrostих представляет собой буквальный перевод английского шифра. В лексическом отношении мой вариант заключительного пассажа совпадает с подлинником более чем на треть, что при описанных стеснениях может показаться даже удачей. О прочем не мне судить.

3. Allegoria

Летом 1983-го года я ехал из Женевы в Монтрё в поезде, обегая северный берег Леманского озера. Езды было около часу. Я сидел спиной к своей цели, имея по левую руку озеро и дальний его альпийский французский берег, а по правую лезшие вверх по крутому и широкому откосу геометрически правильные виноградники. Передо мной на откидной доске лежала книжица под названием Nabokov's Dozen – старое, дешевое издание с тремя «безотнотельными» женскими головками на обложке, как в витрине у парикмахера, того типического вида, в каком американцы изображают француженок: пронизательная, с легким презрением в «чувственном» взгляде брюнетка, смирившаяся с разочарованиями шатенка с тонкими, чуть горькими чертами, и набитая дура-блондинка, кокетливо сузившая глазки, которая того и гляди ляпнет «о-ла-ла» с толстым американским акцентом, покачивая в такт, как ей положено, кукольной головой и пальчиком. Вокруг да позади этих красоток художник поместил мелкие виньетки из великосветской жизни, заимствованной из старых голливудских афиш и не имеющих ровно никакого отношения к тому, что было под обложкою: на одной из них господин в фрачной паре стоит, заложив руки за спину, позади инвалидной коляски своей невесты, а та держит на коленях букет роз (разве что здесь подразумевается некое продолжение повести, и оказывается газетчики все наврали, и Нина осталась в живых, а вот Фердинанд как раз убит). Обложка была покрыта обыкновенными для этого рода изданий зазывными надписями: «Ранняя любовь и запоздалые сожаления, мучительная краса и буйственные восторги – в виртуозном исполнении автора *Лолиты* и *Защиты!* (т. е. Лужина)»; «Между нами живет великий писатель – *Журнал Мильвоки*»; «Г-н Набоков – феномен, сказал Голлис Альперт в *Субботнем обозрении*»; «Нимфетта по имени Колетта... странная, неотвязная любовная коллизия, сочиненная человеком, которого называют самым блистательным писателем нашего поколения». Впрочем, это я теперь разглядываю эту черно-зеленую болтливую обложку, а тогда, пятнадцать лет тому назад, она была обвернута белой бумагой, чтобы черкать на ней заметки. На тыльной стороне этой обертки у меня шел перечень названий всех рассказов и варианты их переводов. Приятно перекачивать

названия с языка на язык! Тут были складно-легкие, «Забытый поэт», например, и попадались весьма трудоемкие (Double Monster), и сомнительные («Знаки и символы», как он у меня вначале числился), и заведомо неудачные (Conversation Piece, 1945); но одно было безусловно непереводимо: *Time and Ebb*.

Я пересматривал эти названия для разговора с Верой Набоковой об издании книги, которую читатель теперь держит в руках; тогда предполагалось издавать ее в Ардисе у Профферов, по примеру русского *Пнина*, вышедшего в том же году. Она вообще была твердо неуступчива там, где перевод, зайдя в тупик решительного несоответствия нужд и средств, требовал отступления от принципа дословности и обходной или вспомогательной стратегии, отчасти покрывающей явные убытки от неурожая хлеба доходом от вынужденной продажи леса. Изредка, впрочем, она совершенно неожиданно соглашалась с каким-нибудь отчаянным моим предложением, задумавшись на минуту и вдруг с быстрой улыбкой говоря «хорошо» или даже «окей». И бывало, что она сама предлагала вольное переложение не очень даже трудного места, и тогда я, хотя в глубине души мог и не видеть в том крайней нужды, соглашался из уважения к самой редкости события и всегда допуская возможность скрытой семейной «авторизации» – например, она без колебаний сообщила, в ответ на мой вопрос, что название предпоследнего романа Набокова *Transparent Things* следует передавать по-русски строчкой из его раннего стихотворения, «Сквозняк из прошлого». Но, повторяю, это все были памятные редкости, и едуци в описываемое утро в Монтрё, я оставил свою несколько дерзкую *восполнительную* передачу «Time and Ebb» в числе других, более или менее жалких из-за органической неполноценности вариантов вроде отлива, отступления, и отбегания времени – просто *на случай*; так человек, которому нужны нитяные перчатки покупает впридачу и ненужные ему теперь теплые, соблазнившись словами приказчика, что они ловко сидят на руке. Откатилось время, моей советчицы давно нет на свете, убытков не счесть, а прибыли любо-дорого, и достав из коробки эту пару хорошей замши, с белым мехом в подкладку, я обнаружил в ней новые, на первый взгляд незаметные достоинства, и так как подошел сезон, решил ею воспользоваться. Перчатки эти, оказалось, обладают чудесными свойствами.

Один из рассказов в этой книге назван весьма удобно для переводчика и по-тургеневски: «Первая любовь». Это глава из строго разчерченной книги воспоминаний Набокова, где описывается как он мальчиком был до странного сильно увлечен поездами дальнего следования и, менее странно, одной парижанкой-девочкой. Кончается он именно *увлекательным* образом движения – обручем этой Николетты (ее на самом деле звали Клавдией), который катится вокруг да около сосредоточенно возстаивающего прошлое писателя и потом смешивается с узором ограды.

Но в известном смысле можно утверждать, что и большинство рассказов в этой книге, да и, пожалуй, большинство вообще произведений Набокова, подчиняется закону сего двоякого символа: мобиле и аттракция, движение и влечение, любовь к локомотивам, аэропланам, и звездолетам, или дальше, глубже, и вернее – любовь, подвигающая все и на этом свете, с его самомалейшими подвижными частностями материи, человеческими скитаниями, движениями души и подвигами духа, – и на том свете, куда, как писал Набоков в своем *Убедительном доказательстве*, из самого сердца созерцателя протягиваются лучи дальнего следования к «иным светилам».

Геннадий Барабтарло

Колумбия, Миссури. 22 июня 1998-го года

Владимир Набоков БЫЛЬ И УБЫЛЬ

Весна в Фиальте⁴

⁴ В рассказе «Весна в Фиальте» в квадратных скобках даются важные добавления (курсивом в тексте) и ва-

Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней [*в начале тридцатых годов*] раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и [*хмурое*] объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсиновую корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная [*великопостная*] весна особенно умягчает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным [*капарабельским*] экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый [*разбойного вида*] продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное: пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одуроченные слоны.

Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, за одно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамаринным глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся [*– должно быть, из-за этих засохших губок, подумал я и –*]. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.

Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?... она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять [*на другой стороне улицы*], полуобернувшись, натянув тень на шею, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства,

приветливой неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, висая на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.

– Фердинандушка здесь, как же, – ответила она и тотчас в свою очередь вежливенько и весело осведомилась о моей жене⁵.

– Штатается где-то с Сегюром, – продолжала она о муже, – а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька⁶?

Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.

Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по [какому-то левоватому театральному гулу за сценой] тем местам, где время изнашивалось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля). Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века [и моя], она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же, как в тридцать два казалась на много моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный [редкой благовоспитанности], взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым⁷ баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта), и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала [(его порядочность и преданность ее, должно быть, раздражали)].

Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине ничком на темный, толстый снег; ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью [По сторонам – две колонны, и у каждой белая опушка сбоку, несколько портящая стройность очертания, и кабы не это, из них вышел бы превосходный экслибрис на книге ее и моей жизни.]. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами⁸, оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о

⁵ [Елене]

⁶ [Витюша]

⁷ [бархатным]

⁸ [елки важно показывали свои тяжело-нагруженные лапы.]

чем-либо... «Кто это?» – спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.

Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка⁹; и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, в даль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины)¹⁰, я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни.

– Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, – заметил я [*фиалтинской Нине*], чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами; и действительно: она так усмехнулась, как будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.

Я сопровождал ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст¹¹; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался¹², она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли [*сквозь струи бисера*], ничего не купив.

Улица была все такая же [*млечно*] влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах, закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены [*красный*] гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.

– Au fond¹³, я хотела гребенку, – сказала Нина с поздним сожалением.

Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только что приехала или сейчас уезжала [*И я не могу об этом думать без унижительного чувства, что вот приходится, как в горячке, мчаться такими петлистыми путями, чтобы прибыть вовремя на место последнего назначения, которого, как знает даже самый отъявленный неторопыга, все равно не минуеть.*]. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на при-

⁹ [началась тема снежной свалки]

¹⁰ [вероятно, затеялись салонные игры, причем Нина постоянно оказывалась в противниках]

¹¹ [музейные наименования]

¹² [старик-далмат каким-то чудом, до сего дня меня поражающим, отыскал эту диковину]

¹³ Да ведь (*фр.*)

лавке¹⁴, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над плачем [навеки] спального вагона.

В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно, определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблука стояла на диване пепельница; и всмотревшись в меня, и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» (в значении «глазам не верю»), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.

Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену¹⁵, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она [радостно] махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке [где все как бы дрожит на пределе чего-то другого, и оттого все хочется схватить и прижать к груди] было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал [с чувством глупейшей досады], что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купэ, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь¹⁶ за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабана, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она высунулась [снова заговорившая и настоящая], страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перонный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального языка памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:

on dit que tu te maries,
tu sais que j'en vais mourir,¹⁷

¹⁴ [острые локти и сумка, из которой высыпались монеты, на прилавке]

¹⁵ [Позен]

¹⁶ [подвижную жизнь в полумраке аквариума]

17

Когда пойдешь ты под венец,
То знай, что мне придет конец,

и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеянное приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне [фильмового] актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собиралась вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал», – сказала она непринужденно, и посмотрев на нижнюю часть моего лица, и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходявшего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчевое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.

Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.

О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить [какой-то человеческий ландшафт,] какой-то [старый] сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его «Passage à niveau»¹⁸, он был очень,

(фр.)

¹⁸ «Шаг за шагом» («Железнодорожный переезд», если верить словарю — прим. верстальщика fb2) (фр.)

как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль, я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью... что именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязанный свэтер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведением очевидным, где профан¹⁹ склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать [*материнскую*] грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, [*на которые дамы более не отзывались*] уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст²⁰; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком оставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середине вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.

Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валанданья у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу [*одного из его относительно удобопонятных сочинений*] для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на ты перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшие депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы.

¹⁹ [простодушный любитель монпарнасского быта]

²⁰ [скромный коммерсант, финансировавший разные сюрреалистические предприятия (и плативший за аперитивы), если ему разрешали печатать в неприметном месте похвальные отзывы об актрисе, которую он держал.]

И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гутаперчей, сося невозмутимо (а все же с оттенком смотрите-какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: «душка такой, Сегюр», но в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть [*в рукопожатие и спиноплохование*], зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанимент взволнованно настраиваемых струн, в суеде дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств; но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался.

Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!», вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажеей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов жолобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил не торгуясь, и, все еще с открытым ртом, вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная.

Нина стала мечтать о завтраке и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой [*из конторы*] и вижу: пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке [*на Тауенциништрассе*]. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале [*рядом с осенними листьями, перчатками и ветром выметенными гольфными лужайками*]. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом [*Как-то на Рождество она мне прислала открытку со снегом и звездами. Как-то раз, на Ривьере, я насилу узнал ее в темных очках и с терракотовым загаром.*]. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто [*чужих пугал*] на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку²¹. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): «Ее облик, – писал Фердинанд, – был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединенных черт: пушистых на свет выступов скул, ян-

²¹ [кашнэ]

тарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй». Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал²², лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей²³: заехала, чтобы оставить [заколку (ненамеренно) и (намеренно)...] какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев²⁴, явился симпатичный немец²⁵, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном, союзе, в котором состоял и я. Иногда, где-нибудь, среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мной проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне [без моих намеков], но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники [как сумасшедшие], и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью [после целого дня охоты на склонах, покрытых щебнем] и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода [тихого смеха], розовых щиколок над лебяжьей опушкой тувфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоса, когда она позвонила мне по делу мужа: и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на Богом забытых вокзалах. И что бы ни случилось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные «заботы-радости» (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно, оттого что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупички и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь [ненужность] и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного²⁶ толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доberman-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва воображимой, напоенной

²² [валялся и курил]

²³ [в дверь яростно позвонили]

²⁴ [две недели]

²⁵ [австриец]

²⁶ [разумного, если уж не нравственного]

наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого [*с его толпами меняющих обличье предшественников*]? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем [*кое-чем посильнее любви –*] крепкой как торжонной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбить запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви²⁷. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой опять все те же слоны, расставя чудовищно-младенческие колени сидели на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бель-этаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина [*марки «Икар»*]: «Наша, то есть Сегюра, – сказала Нина, добавив: – поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?», хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролегал гуаш неба и ветвей; в металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг [*тощие кинематографические прохождения*], проходя по окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа: как они втроем усаживались, в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились (Нинин последний десятипалый привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана [*между двумя лаврами*], и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вождение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел.

Содрав с маленьких сухошавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела молюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некоей метафизической связи с крайностью в политике²⁸, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература²⁹, конечно, становится, по ужасному, еще

²⁷ [никуда не ведущим лестничным пролетом]

²⁸ [...что рябь потока сознания, несколько размашистых непристойностей, да щепоть коммунизма, если это пошло смешать в первом попавшемся корыте, каким-то самопроизвольным алхимическим способом производит сверх-модерную литературу]

²⁹ [и я буду настаивать покуда меня не разстреляют, что искусство...]

мало исследованному *свиному закону*, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал: мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто [кроме нескольких *снобов*] ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую³⁰ ночь, среди которой он пускал по невозможным спиральям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе.

– Критика! – воскликнул он. – Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. [Они счастливы неведением того, о чем пишут.] Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату [который может взорваться]. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или Mme de V. (он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). Я тоже хочу этой голубиной крови, – продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста [с длинным ногтем], бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника любившего писать стекло³¹, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем [дородный] англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул. Оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой.

–...это, как белая лошадь Вувермана, – сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром.

– Tu es très hippique ce matin³², – заметил тот.

Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как например сейчас, заручиться даровым ночлегом.

Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку: удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой чолкой [по особому разрешению], благоговейно сидел частный мальчик³³ в матроске.

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой, кофейни; официант осматривал (и, быть может³⁴, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще: нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Jules Darboux, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить...», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблучка, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: «Нет!», и

³⁰ [замысловатую кремлевскую]

³¹ [упомянул Рубину Роз, особу, писавшую цветы на своей груди]

³² Дались тебе нынче лошади (фр.)

³³ [сын туриста]

³⁴ [надеюсь]

потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки», и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаюсь его грустью.

Поднявшись по лестнице, мы очутились на шербоатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора св. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоями крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушаю что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное *ты* заменяя тем одухотворенным, выразительным *вы*, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: «А что, если я вас люблю?» Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... «Я пошутил, пошутил», – поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане³⁵, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка [*въезжавшего в город*], причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной.

Париж, 1938 г.

Забытый поэт

1

В тысяча восемьсот девяносто девятом году, в солидном, удобном, как бы фланелью подбитом Санкт-Петербурге того времени, известная культурная организация, Общество Ревнителю Русской Словесности, решила устроить торжественное чествование памяти поэта Константина Перова, умершего полвека тому назад в пылком возрасте двадцати-четырёх лет. Его называли русским Рембо, и хотя французский юноша превосходил его дарованьем, такое сравнение не было совершенно лишено основания. Всего восемнадцати лет отроду он сочинил свои знаменитые «Грузинские ночи», длинную, вольно-растекающуюся «поэму-сон», иные строфы которой прорывают покров традиционной восточной обстановки, отчего райский холодок истинной поэзии находит точку своего приложения как раз посредине между лопатками читателя.

Затем, три года спустя, появился том его стихотворений: он увлекся каким-то немец-

³⁵ [в Млехе]

ким философом, и иные стихи этого периода производят удручающее впечатление, ибо в них он пытается сочетать (с карикатурным результатом) настоящую лирическую судорогу и метафизическое объяснение вселенной; прочие все так же живы и необычны как в те дни, когда странный этот юноша вывихивал суставы русского словаря и свертывал шею общепринятым эпитетам, чтобы заставить поэзию захлебываться и вопить, а не чирикать. Большинству читателей нравились более всего те его стихи, где идея равноправия, столь характерная для пятидесятых годов, выразилась в восторженной буре темного красноречия, которое, по словам одного критика, «не столько указывает на врага, сколько вызывает желание биться с ним». Что до меня, то я предпочитаю его более прозрачную и в то же время менее гладкую лирику, например, «Цыганку» или «Нетопыря».

Перов был сын мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался завести чайную плантацию в своем Лужском имении. В юности Константин (говоря языком биографа) проводил большую часть времени в Петербурге, не слишком усердно посещая университет, потом не слишком усердно подыскивая себе канцелярскую должность – в сущности, очень мало известно об его деятельности, если не считать заурядных сведений, которые легко вывести из быта людей его круга. Отрывок из письма Некрасова, который случайно повстречался с ним в книжной лавке, рисует образ угрюмого, неуравновешенного, «неуклюжего и сурового» молодого человека «с глазами ребенка и плечами ломового извозчика».

Упомянут он также в одном полицейском донесении: «негромко разговаривал с двумя другими студентами» в кофейне на Невском. Говорят, его сестра, бывшая замужем за рижским купцом, порицала поэта за его романтические приключения с белошвейками и прачками. Осенью 1849-го года он навестил отца специально затем, чтобы просить у него денег на путешествие в Испанию. Отец его, человек простой и несдержанный, дал ему оплеуху, а спустя несколько дней бедняга утонул в местной речке. Его одежду и недоеденное яблоко нашли под березой, но тела так никогда и не обнаружили.

Слава его едва теплилась: отрывок из «Грузинских ночей» (всегда один и тот же) во всех антологиях; пламенная статья Добролюбова в 1859-ом году, восхваляющая революционные поползновения в самых слабых его стихах; ходячее в восьмидесятых годах убеждение, что атмосфера реакции теснила и в конце концов погубила отличный, хотя и несколько косноязычный талант – вот, пожалуй, и все.

В девяностых годах, вследствие более здорового вкуса к поэзии, который, как это иногда случается, совпал с устойчивой и скучной политической эрой, интерес к стихам Перова возобновился, между тем как либерально настроенные люди были непрочь последовать по дорожке, указанной Добролюбовым. Успех подписки на сооружение памятника в одном из городских парков превзошел ожидания. Известный издатель собрал по крохам все доступные материалы для биографии Перова и напечатал полное собрание его сочинений в одном, довольно толстом, томе. Журналы посвятили ему несколько статей. Вечер его памяти в одной из лучших столичных зал привлек массу народа.

2

За несколько минут до начала, когда участники еще сидели в комитетской комнате за сценой, дверь распахнулась и вошел крепкого вида старик в сюртуке, знававшем лучшие времена (на его или на чужих плечах). Не обращая ни малейшего внимания на уговоры двух студентов-распорядителей с нарукавными повязками, пытавшихся задержать его, он с безупречным достоинством направился к членам комитета, поклонился и сказал: «Я – Перов».

Один мой приятель, который вдвое меня старше, последний живой свидетель происшествия, передает, что председатель (который, будучи редактором газеты, имел большой опыт по части навязчивых посетителей) сказал, даже не повернув головы, «Вон его». Никто этого не сделал – возможно оттого, что принято соблюдать некоторую учтивость по отношению к пожилому, на вид сильно подвыпившему человеку. Он же сел за стол и, обращаясь к выглядевшему безобиднее других Славскому, переводчику Лонгфелло, Гейне, и Сюлли-Прюдома (а позднее члену террористической организации), деловито осведомился, внесены ли уже «деньги на памятник», и если внесены, то когда он мог бы их получить.

Все отчеты сходятся на том, как необычайно спокойно он предъявил свое требование. Он не напирал. Он высказал его так, как будто совершенно не допускал мысли, что ему могут не поверить. Более всего поражало, что в самом начале этого странного происшествия, в этой уединенной комнате, среди всех этих почтенных людей, какой-то человек с бородой патриарха, с выцветшими карими глазами и носом картошкой, спокойно расспрашивал о доходах от сборов, не затрудняясь предъявить даже такие доказательства, какие мог бы подделывать обыкновенный самозванец.

– Вы родственник ему, что ли? – спросил кто-то.

– Я Константин Константинович Перов, – терпеливо сказал старик. – Мне сказали, что в зале находится кто-то из моей родни, однако к делу это нейдет.

– Вам сколько лет? – спросил Славский.

– Мне семьдесят четыре года, – отвечал он, – притом я жертва нескольких неурожаев сряду.

– Вам вероятно небезызвестно, – заметил актер Ермаков, – что поэт, чью память мы чествуем сегодня, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет тому назад.

– Вздор, – возразил старик. – Я разыграл эту комедию, оттого что имел на то причины.

– А теперь, любезный, – сказал председатель, – вам надлежит удалиться.

Они забыли о его существовании и гуськом вышли на ярко освещенную сцену, где другой длинный стол, задрапированный торжественным красным сукном, с нужным числом стульев позади, уже некоторое время привлекал внимание публики бликом традиционного в таких случаях графина. Слева от него был выставлен портрет маслом, взятый на вечер из Шереметевской картинной галереи: на нем был изображен двадцатидвухлетний Перов, смуглый молодой человек с романтической прической, в рубашке с открытым воротом. Треножник был целомудренно задрапирован листьями и цветами. Кафедра, с другим графином, возвышалась впереди, а за сценой рояль дождался, когда его, несколько позже, выкатят для музыкальной части программы.

Зала была битком набита литераторами, просвещенными адвокатами, педагогами, учеными, восторженными студентами обоих полов и так далее. Несколько скромных агентов тайной полиции, посланных присутствовать на вечере, расположилось в неприметных местах в зале, ибо правительство знало по опыту, что самые благонамеренные культурные собрания обладают странным свойством превращаться в оргию революционной пропаганды. Тот факт, что одно из ранних стихотворений Перова содержало скрытый, но одобрительный намек на бунт 1825-го года, указывал на необходимость соблюдения некоторых предосторожностей: кто же поручится, к чему может привести публичное чтение таких, например, строчек:

Сибирских пихт угрюмый шорох
С подземной сносится рудой.

Как сказано в одном отчете, «скоро возникло смутное предчувствие скандала в духе Достоевского (автор имеет в виду знаменитую балаганную главу из *Бесов*) и возникло ощущение какой-то неловкости и безпокойного ожидания». Причиной этому было то, что покойной господин умышленно вышел на эстраду вслед за семью членами юбилейной комиссии и сделал попытку усесться вместе с ними за стол. Председатель, желая прежде всего избежать потасовки на глазах у публики, изо всех сил старался его отговорить. Под прикрытием вежливой улыбки, он шепнул старцу, что велит вывести его из залы, ежели он не выпустит спинки стула, которую Славский с непринужденным видом, но стальной хваткой, незаметно старался вырвать из его узловатой руки. Тот отступить отказался, но рука его соскользнула и он остался без стула. Он огляделся, заметил рояльный табурет за сценой и хладнокровно выволок его на эстраду, на долю секунды опередив руку невидимого служителя, который попытался перехватить его. Уселся на некотором расстоянии от стола и тотчас сделался главной достопримечательностью.

Тут комиссия совершила роковую ошибку, решив опять игнорировать его: им, повторыю, очень хотелось избежать скандала; к тому же куст гортензии рядом с мольбертом наполовину скрывал от них неприятного субъекта. К несчастью, старик оказался на полном

виду у публики, когда опустился на свой неподобающий пьедестал (поминутным скрипом напоминавший о своих вращательных способностях), раскрыл футляр для очков и, по-рыбы округлив губы, подышал на стекла, совершенно невозмутимый и спокойный, своей величавой головой, поношенной черной одеждой и прюнелевыми сапогами напоминая одновременно обедневшего профессора и процветающего гробовщика.

Председатель направился к кафедре и начал вступительное слово. Перешептывания пробегали по зале, так как людям, естественно, хотелось знать, кто такой этот старик. Крепко посадив очки на нос и положив руки на колени, он покосился на портрет, потом отвернулся и оглядел первый ряд. Ответные взоры невольно переходили с блестящего купола его головы на курчавую голову портрета, потому что покуда председатель произносил длинную речь, подробности вторжения старца распространились, и воображение иных из присутствующих уже лелеяло мысль, что поэт, принадлежавший к чуть ли не легендарной эпохе, прочно отнесенный к ней учебниками, существо анахроническое, живое ископаемое в сетях невежественного рыболова, какой-то Рип ван Винкель³⁶, – в самом деле на старости лет явился в этом своем сером воплощении в собрание, посвященное славе его юных дней.

–...так пусть же имя Перова, – говорил председатель, заканчивая речь, – никогда не забудется мыслящей Россией. Тютчев сказал, что «сердце России не забудет» Пушкина как первую любовь. О Перове можно сказать, что он был первым российским опытом свободы. Поверхностному наблюдателю может показаться, что свобода эта сводится к феноменальному изобилию поэтических образов Перова, которое оценит скорее художник, чем гражданин. Но мы, представители более трезвого поколения, мы склонны усматривать более глубокий, более насыщенный, более человеческий и более общественно-значительный смысл в таких его строках, как

Когда в тени последний снег тает,
 В апреле, под кладбищенской стеной,
 И отливает синим и лоснится
 На быстром солнце круп кобылы вороной
 Соседа моего, и столько луж, похожих
 На чаши с небом, в чернокожих
 Руках земли, – тогда, в худой шинели,
 Моя душа проходит по панели
 Чтоб навестить слепых, и нищих, и глупцов,
 И тех, кто спину гнет для круглых животов,
 Чье зренье похоть ли, забота ль притупила –
 Ни дыр в снегу, ни кубовой кобылы,
 Ни чудных луж не видно им...

Раздался гром аплодисментов, как вдруг хлопанье оборвалось, а затем послышались разрозненные раскаты смеха; ибо когда председатель, еще вибрируя от только что произнесенных им слов, вернулся к столу, бородатый незнакомец поднялся и, в ответ на аплодисменты, несколько раз угловато покивал и неловко помахал рукой, выражая вместе формальную признательность и некоторое нетерпение. Славский и двое распорядителей сделали отчаянную попытку стащить его со сцены, но из глубины залы стали кричать «Стыдно, стыдно» и «Оставьте старика!»

В одном из отчетов я нахожу предположение, что среди публики у него были сообщники, но я думаю, что массовое сочувствие, возникающее столь же неожиданно как и массовое озлобление, вполне удовлетворительно объясняет оборот, который начало принимать дело. Несмотря на то, что старику приходилось отбиваться от трех человек, он ухитрялся сохранять достоинство, и когда его не слишком решительные противники ретировались и он

³⁶ Герой одноименного рассказа Вашингтона Ирвинга (1819). Гномы усыпляют его на двадцать лет; проснувшись, он обнаруживает себя стариком, а глухую Британскую колонию, в которой он заснул, Соединенными Штатами Северной Америки.

снова завладел рояльным табуретом, опрокинутым во время схватки, по зале прошел гул одобрения. Однако, как это ни прискорбно, настроение собрания было безнадежно подорвано. Тем из присутствующих, кто был помоложе и побуйней, такое развитие событий начало нравиться чрезвычайно. Председатель, раздувая ноздри, налил себе стакан воды. Из двух углов залы осторожно переглядывались два агента сыскной полиции.

3

За речью председателя последовал отчет казначея о суммах, полученных от различных учреждений и частных лиц на сооружение памятника Перову в одном из парков на краю города. Старик неторопливо достал клочок бумаги и огрызок карандаша и, приладив бумагу на колене, начал отмечать цифры по мере того как они произносились. Затем на сцене на минуту появилась внучка сестры Перова. Этот номер программы доставил организаторам немало хлопот, так как эта толстая, лупоглазая, восковой бледности молодая женщина лечилась от меланхолии в заведении для душевнобольных. Вся в жалко-розовом, с трагически перекошенным ртом, она была наскоро показана публике и потом передана обратно в крепкие руки дородной женщины, которую заведение к ней приставило.

Когда Ермаков, в те годы любимец театральной публики и, так сказать, драматическая разновидность того, что называют *beau tenor*³⁷, начал читать сливочно-шоколадным голосом монолог Князя из «Грузинских ночей», стало ясно, что даже его преданнейших поклонников больше занимала реакция старика, чем красота исполнения. Когда дошло до строчек

Коль правда, что металл не знает тленья,
То, значит, где-нибудь должна лежать
Та пуговица, что мне в день рожденья,
В семь лет случилось в парке потерять.
Сыщите мне ее – тогда она
Залогом будет, что вот так любая
Душа отыщется, не погибая,
Сохранна, сочтена, и спасена –

его самообладание впервые дало трещину, и он медленно развернул большой платок и со вкусом высморкался, так что густо подведенный, алмазно-яркий глаз Ермакова закосил как у пугливого коня.

Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя сидевшим в первом ряду стало видно, что из-под очков у него текут слезы. Он не пытался отереть их, хотя раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималась-было к очкам, но опускалась обратно, точно он боялся таким жестом (это-то и было жемчужиной всего изощренного спектакля) привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за декламацию поэмы. Затем, едва аплодисменты утихли, он встал и подошел к краю сцены.

Члены комиссии не пытались остановить его, и тому имелись две причины. Во-первых, председатель, доведенный до крайней степени раздражения вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы распорядиться кое о чем. Во-вторых, странные сомнения начали беспокоить и некоторых организаторов; так что когда старец облокотился на пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина.

– И это слава, – сказал он таким глухим голосом, что из задних рядов раздались крики: «Громче, громче!»

– Я говорю, и это-то слава, – повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. – Десятка два ветреных стишков, жонглирование трескучими словесами, и твое имя поминают, точно ты принес какую-то пользу человечеству! Нет, господа, не нужно себя обманывать. Наша Империя и трон нашего Государя-батюшки стоят как стояли, аки гром оце-

³⁷ Красавец-тенор (*фр.*)

пенелый, в своей неколебимой мощи, и сбившийся с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад полвека, теперь законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, добавлю, который нуждается в вашем вспомоществовании. Я жертва стихий: земля, которую я вспахал в поте лица своего, агнцы, коих я своими руками вскормил, пшеница, махавшая мне златыми дланями...

И тут только двое дюжих городских быстро и безболезненно выдворили старика. В публике успели заметить, как его быстро выводили – манишка торчала в одну сторону, борода в другую, одна манжета болталась на запястье, но в глазах его сохранялась та же степенность и то же достоинство.

В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о «достойном сожаления происшествии», омрачившем его. Но бульварные *Петербургские Новости* – лубочный, черносотенный листок, издававшийся братьями Херстовыми³⁸ для мещанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведении прослойки рабочего люда, разразился вереницей статей, утверждавших, что «достойное сожаления происшествие» было ничто иное как возвращение из небытия настоящего Перова.

4

Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудак, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и «погромистиков». *Новости* напечатали несколько интервью с самозванцем. В них он говорил чудовищные вещи о «лакеях революционной партии», обманом лишивших его собственного имени и присвоивших его деньги. Он намеревался взыскать эти деньги законным порядком с издателя полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на (к сожалению довольно разительное) сходство между наружностью старика и портретом.

Появилась обстоятельная, но чрезвычайно малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им будто бы для того, чтобы жить по-христиански на лоне Святой Руси. Кем он только ни был – разносчиком, птицеловом, паромщиком на Волге, пока, наконец, не обзавелся клочком земли в одной отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид книжонки, *Смерть и воскресение Константина Перова*, которой торговали на улице дрожащие от холода нищие, вместе с *Похождениями Маркиза де Сада* и *Мемуарами амазонки*. Однако лучшей моей находкой, выуженной в старых бумагах, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову, в парке, посреди опавших листьев. Он стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто; у его ног сгрудилась стайка сторонников, и их маленькие белые лица смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает у самосудной толпы американских погромщиков на старых фотографиях.

В этой атмосфере цветущего хулиганства и черносотенной пошлости (столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, как прозывается самодержец – Николаем, Александром, или Иосифом) интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно-настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размалеванной свинарне. Трагично было то, что в то время как ни Громов, ни братья Херстовы сами вовсе не верили, что человек, служивший им источником забавы, и в самом деле был Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли, что они отвергли Истину и Справедливость.

Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, «дрожь берет при мысли, что безпримерный в истории дар судьбы – воскрешение большого поэта про-

³⁸ Чтобы понять эту простенькую шутку надо знать, что семейство Хёрстов (Hearst) стоит во главе колоссального издательского дела в Америке, печатая главным образом пошлую дребедень (газеты, площадные или лабазные еженедельники и вульгарные ходкие книжки).

шлого, как некоего Лазаря – может быть неблагоприятно отринут – мало того, сочтен за злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключается в том, что он полстолетия молчал, а потом несколько минут нес околесицу». Слог витиеват, но смысл ясен: российская интеллигенция меньше боялась оказаться жертвой обмана, чем совершить ужасную ошибку. Но было тут и другое, чего она боялась еще больше, именно разрушения идеала, ибо радикал готов разрушить все на свете, но только не банальный пустяк (каким бы сомнительным и пыльным он ни был), который радикализм почему-нибудь боготворил.

Передавали, что на тайном заседании Общества Ревнителй Русской Словесности многочисленные бранные письма, непрерывно посылавшиеся стариком, тщательно сличались экспертами с очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в каком-то частном архиве, считалось единственным образцом почерка Перова, и никто кроме ученых, исследовавших его выцветшие чернила, не знал о его существовании – как, впрочем, и мы не знаем теперь, к какому они пришли заключению.

Передавали тоже, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных сторонников. По-видимому, ему предложили выплачивать солидную ежемесячную пенсию, с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, предложение это было принято, так как исчез он столь же внезапно, что и появился, а Громов между тем примирился с потерей домашнего шута, поселив у себя подозрительного гипнотизера французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при дворе.

Памятник был своим чередом открыт и приобрел большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умственно-одаренный житель уезда, где Перов родился, рассказал сотруднице одного журнала, что припоминает, как отец говорил ему, что нашел скелет в камышевых зарослях местной речки.

5

На этом можно было бы и кончить, если бы не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесыми корешками разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно-деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения (например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собственные книги), кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитание устроив Перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению.

А что же экспонаты? Какие угодно, за вычетом одного (письма). Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны драгоценного Шереметевского портрета (с трещиной в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливанья); потрепанный томик «Грузинских ночей», будто бы принадлежавший Некрасову; неважная фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад в имении отца поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перова, разложенных так, чтобы занять собою как можно больше места.

И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов эпохи, как, например, халат, который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете, и кандалы, которые он же носил в своей деревянной сибирской тюрьме. И опять же, так как ни эти убогие вещи, ни портреты разных литераторов того времени были не достаточно объемисты, то посреди этой унылой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда, пущенного в России (в роковых годах, между Петербургом и Царским Селом).

Старик, которому было уже далеко за девяносто, но который не лишился еще дара речи и держался более или менее прямо, водил вас по музею, словно он был там гостеприим-

ный хозяин, а не сторож. Было странное ощущение, что вот сейчас он пригласит вас в дружную (несуществующую) комнату, где будет подан ужин. В действительности же ему принадлежали только печка за ширмой да лавка, на которой он спал; но если вы покупали одну из книг, выставленных на продажу у входа, то он вам ее надписывал с видом самым естественным.

И однажды утром, женщина, приносившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. В музее некоторое время жило три сварливых семейства, и вскоре от его коллекции ничего не осталось. И как будто чья-то огромная рука вырвала с хрустом кипу страниц из множества книг, или будто какой-то легкомысленный сочинитель засунул в сосуд истины эльфа фантазии, или будто...

Впрочем, это несущественно. Так или иначе, в продолжение последующих двадцати с чем-то лет Россия утратила всякую связь с поэзией Перова. Молодые советские граждане столь же мало знают о его произведениях, что и о моих. Без сомнения, придет время, когда его снова откроют и будут опять им зачитываться; а все же нельзя отделаться от чувства, что покамест люди много теряют. Хотелось бы тоже знать, к какому выводу придут будущие историки насчет старика и его необычайной претензии. Но это, разумеется, вопрос второй-степенной важности.

Бостон, 1944-й г.

Первая любовь (Colette)

1

В железнодорожном агентстве на Невском была выставлена двухаршинная модель коричневого спального вагона: международные составы того времени красились под дубовую обшивку, и эта дивная, тяжелая с виду вещь с медной надписью над окнами далеко превосходила в подробном правдоподобии все мои, хорошие, но явно жестяные и обобщенные, заводные поезда. Мать пробовала ее купить; увы, бельгиец-служаший был неумолим. Во время утренней прогулки с гувернанткой или воспитателем я всегда останавливался и молился на нее. Иметь в таком портативном виде, держать в руках так запросто вагон, который почти каждую осень нас уносил за границу, почти равнялось тому, чтобы быть и машинистом, и пассажиром, и цветными огнями, и пролетающей станцией с неподвижными фигурами, и отшлифованными до шелковистости рельсами, и туннелем в горах. Снаружи сквозь витрину модель была доступнее влюбленному взгляду, чем изнутри магазина, где мешали какие-то плакаты. Можно было разглядеть в проемах ее окон голубую обивку диванчиков, красноватую шлифовку и тисненую кожу внутренних стенок, вделанные в них зеркала, тюльпанообразные лампочки... Широкие окна чередовались с более узкими, то одиночными, то парными. В некоторых отделениях уже были сделаны на ночь постели.

Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было – о, не пересаживаться, а быть переводимым – в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово-Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова – уголь.

В памяти я могу распутать по крайней мере пять таких путешествий в Париж, с Ривьерой или Биаррицем в конце. Выбираю относящееся к 1909-му году. Мне кажется, что сестры – шестилетняя Ольга и трехлетняя Елена – остались в Петербурге под надзором няни и теток. (По словам Елены, я не прав: они тоже участвовали в поездке.) Отец в дорожной кепке и замшевых перчатках сидит с книгой в купе, которое он делит с Максом, тогдашним нашим гувернером. Брат Сергей и я отделены от них проходной туалетной камеркой. Следующее купе, смежное с нашим, занимает мать со своей пожилой горничной Наташей и расстроенной таксой. Нечетный Осип, отцовский камердинер (лет через десять педантично расстрелянный большевиками за то, что угнал к себе наши велосипеды, а не передал их

народу), делит четвертое купе с посторонним – французским актером Фероди.

В апреле того года Пири дошел до Северного Полюса. В мае пел в Париже Шаляпин. В июне, озабоченный слухами о новых выводках цеппелинов, американский военный министр объявил, что Соединенные Штаты намерены создать воздушный флот. В июле Блерио на своем монопланчике перелетел из Кале в Дувр (сделав лишний крюк – заблудился). Теперь был август. Ели и болота северозападной России прошли своим чередом и на другой день, при некотором увеличении скорости, сменились немецкими соснами и вереском. На подъемном столике мать играет со мной в дурачки. Хотя день еще не начал тускнеть, наши карты, стакан, соли в лежачем флакончике и – на другом оптическом плане – замки чемодана демонстративно отражаются в оконном стекле. Через поля и леса, и в неожиданных оврагах, и посреди убегающих домишек, призрачные, частично представленные картежники играют на никкелевые и стеклянные ставки, ровно скользящие по ландшафту. Любопытно, что сейчас, в 1953-м году, в Орегоне, где пишу это, вижу в зеркале отельного номера эти же самые кнопки того же именно, теперь пятидесятилетнего, материнского несессера из свиной кожи с монограммой, который мать брала еще в свадебное путешествие, и который через полвека вожу с собой: то, что из прежних вещей уцелели только дорожные, и логично и символично.

«Не будет ли? Ты, ведь, устал», – говорит мать, а затем задумывается, медленно тасуя карты. Дверь в коридор открыта, и в коридорное окно видны телеграфные проволоки – шесть тонких черных проволок на бледном небе – которые поднимаются все выше, с трогательным упорством, вот-вот готовы достигнуть верхнего края оконницы, но всякий раз их сбивает одним махом злостный столб, и приходится им опять подниматься с самого низа.

Когда, на таких поездках, Норд-Экспрессу случалось замедлить ход, чтобы величаво влачиться через большой немецкий город, где он чуть не задевал фронтонов домов, я испытывал двоякое наслаждение, которое тупик конечного вокзала мне доставить не мог. Я видел, как целый город, со своими игрушечными трамваями, зелеными липами на круглых земляных подставках и кирпичными стенами с лупящимися старыми рекламами мебельщиков и перевозчиков, вливается к нам в купе, поднимается в простеночных зеркалах и до краев наполняет коридорные окна. Это соприкосновение между экспрессом и городом еще давало мне повод вообразить себя вон тем пешеходом и за него пьянеть от вида длинных карих романтических вагонов, с черными промежуточными гармониками и огненными на низком солнце металлическими буквами («Compagnie Internationale...»)³⁹, неторопливо переходящих через будничную улицу и постепенно заворачивающих, со вспышкой всех окон, за последний ряд домов.

Иногда эта переслойка зрительных впечатлений мстила мне. За длинной чередой качких, узких голубых коридоров, уклоняющихся от ног, нарядные столики в широкооконном вагоне-ресторане, с белыми конусами сложенных салфеток и акваариновыми бутылками минеральной воды, сначала представлялись прохладным и стойким убежищем, где все прельщало – и пропеллер вентилятора на потолке, и деревянные болванки швейцарского шоколада в лиловых обертках у приборов, и даже запах и зыбь глазчатого бульона в толстогубых чашках; но по мере того как дело подходило к роковому последнему блюду, все назойливее становилось ощущение, что прозрачный вагон со всем содержимым, включая потных, крепящихся эквилибристов-лакеев (как ужасно напирал один на стол, пропуская сзади другого!), неряшливо и неосторожно вправлен в ландшафт, при чем этот ландшафт находится сам в сложном многообразном движении, – дневная луна бойко едет рядом, вровень с тарелкой, плавным веером раскрываются луга вдалеке, ближние же деревья несутся навстречу на невидимых качелях и вдруг совершенно другим аллюром, ускакивают превращаясь в зеленых кенгуру, между тем как параллельная колея сливается с другой, а затем с нашей, и за ней насыпь с мигающей травой томительно поднимается, поднимается, – пока вся эта мешанина скоростей не заставляла молодого наблюдателя вернуть только что поглощенный им омлет с горячим вареньем.

Только ночью оправдывалось вполне волшебное название «Compagnie Internationale

³⁹ «Международное Общество...» (фр.)

des Wagons-Lits et des Grands Express Européens»⁴⁰. С моей постели под койкой брата (спал ли он? был ли он там вообще?) я наблюдал в полумраке отделения, как опасно шли и никуда не доходили предметы, части предметов, тени, части теней. Деревянное что-то потрескивало и скрипело. У двери в уборную покачивалась на крюке одежда или тень одежды, и в такт ей моталась кисть синего двухстворчатого колпака, снизу закрывавшего потолочную лампу, которая бодрствовала за лазурью материи. Эти пошатывания и переборы, эти нерешительные подступы и втягивания было трудно совместить в воображении с диким полетом ночи во вне, которая – я знал – мчалась там стремглав, в длинных искрах.

Я и дома старался бывало заманить сон тем, что пускал сознание по привычному кругу, видя себя, скажем, водителем поезда, а тут и вправду мчало меня. Реалия, замыкаясь дремотой, блаженно обтекала сознание по мере того, как я все так хорошо устраивал, – и беззаботные пассажиры (забота была моя, забота меня дурманила) гордились властителем-машинистом, покуривали, обменивались знающими улыбками, ложились, дремали; а поездная прислуга (которую мне, собственно, некуда было деть) после них пиновала в вагоне-ресторане; сам же я, в гоночных очках и весь в масле и саже, высовывался из паровозной будки, стараясь высмотреть сквозь ветер рубиновую точку в черной дали. Но затем, уже во сне, я видел совсем-совсем другое – цветной стеклянный шарик, закатившийся под рояль, или игрушечный паровозик, упавший на бок и все продолжавший работать бодро жужжащими колесами.

Течение моего сна иногда прерывалось тем, что ход поезда замедлялся. Тихо шагали мимо огни; проходя, каждый из них заглядывал в ту же щелку, и световой циркуль медленно мерил мрак купе. Поезд останавливался с протяжным вздохом вестингхаузовских тормазов. Сверху вдруг падало что-нибудь (например, братние очки). Необыкновенно интересно было подползти к изножию койки – в сопровождении вывороченного одеяла, – дабы осторожно отцепить шторку с нижней кнопки и откатить ее вверх до половины (дальше не пускал край верхней койки). За стеклом был сказочный мир, – сказочный потому, что я его подглядывал нечаянно и незаконно, без малейшей возможности принять в нем участие. Как спутники огромной планеты, бледные ночные бабочки вращались вокруг газового фонаря. Разъединенная на части газета ехала, погоняемая толчками ветра, по вылощенной скамье. Где-то в вагоне слышались глухие голоса, уютное покашливанье. Ничего особенно замечательного не было в случайной части безымянной станции, невинно обнажившейся передо мной и стынувшей, как мои ноги, но почему-то я не мог оторваться от нее, покуда она сама не уезжала – Боже мой, как гладко снимался с места мой волшебный Норд-Экспресс.

На другое утро уже белелась и мчалась мимо мутная Бельгия; кафе-о-ле с отвратительными пенками как то шло виду в окне, мокрым полям, искалеченным ивам по радиусу канавы, шеренге тополей, перечеркнутых полосой тумана. Поезд приходил в Париж в четыре пополудни, и, даже если мы там только ночевали, я всегда успевал купить что-нибудь, например маленькую медную Эйфелеву башню, грубовато покрытую серебряной краской – прежде, чем сесть в полдень на Сюд-Экспресс, который, по пути в Мадрид, доставлял нас к десяти вечера в Биарриц, в нескольких километрах от испанской границы.

2

Биарриц в те годы еще сохранял свою тонкую сущность. Пыльные кусты ежевики и плевелистые *terrains à vendre*⁴¹, полные прелестных геометрид, окаймляли белую дорогу, ведущую к нашей вилле. Карлтон тогда еще только строился, и суждено было пройти тридцати-шести годам до того, как генерал Мак-Кроскей займет королевские апартаменты в Отель дю Пале, построенном на месте того дворца, где в шестидесятых годах невероятно изгибчивый медиум Daniel Home был пойман, говорят, на том, что босой ступней («ладонью» вызванного духа) гладил императрицу Евгению по доверчивой щеке. На каменном

⁴⁰ «Международное Общество Спальных Вагонов и Европейских Экспрессов Дальнего Следования» (фр.)

⁴¹ Участки для продажи (фр.)

променаде у казино выдавшая виды пожилая цветочница с лиловатыми бровями ловко продевала в петлицу какому-нибудь потентату в штатском тугую дулю гвоздики – он скашивал взгляд на ее жеманные пальцы, и слева у него вспухала складка подбрюдка. Вдоль променада, по задней линии пляжа, глядящего в блеск моря, парусиновые стулья заняты были родителями детей, играющих впереди на песке. Делегату-читателю нетрудно будет высмотреть среди них и меня: стою на голых коленях и стараюсь при помощи увеличительного стекла поджечь найденную в песке гребенку. Щегольские белые штаны мужчин показались бы сегодня комически ссевшимися в стирке: дамы же в летний сезон того года носили бланжевые или гри-перлевые легкие манто с шелковыми отворотами, широкополые шляпы с большими тульями, густые вышитые белые вуали, – и на всем были кружевные оборки – на блузках, рукавах, парасолях. От морского ветра губы становились солеными: пляж трепетал как цветник, и безумно быстро через него проносилась залетная бабочка, оранжевая с черной каймой. Проходили продавцы разной соблазнительной дряни – орешков чуть слаще моря, витых, золотых леденцов, засахаренных фиалок, нежнозеленого мороженого и громадных ломких, вогнутых вафель, содержащихся в красном жестяном боченке: старый вафельщик с этой тяжелой штукой на согнутой спине быстро шагал по глубокому мучнистому песку, а когда его подзывали, он, рванув ее за ремень, сваливал с плеча на песок и ставил стойком свою красную посудину, затем стирал пот с лица и, получив один су, пальцем приводил в трескучее движение стрелку лотерейного счастья, вращающуюся по циферблату на крышке боченка: фортуне полагалось определять размер порции, и чем больше выходил кусок вафли, тем мне жалче бывало торговца.

Ритуал купанья происходил в другой части пляжа. Профессиональные беньеры, дюжие баски в черных купальных костюмах, помогали дамам и детям преодолевать страх и прибой. Беньер ставил клиента спиной к накатывающей волне и держал его за ручку, пока вращающаяся громада, зеленея и пенясь, бурно обрушивалась сзади, одним мощным ударом либо сбив клиента с ног, либо вознеся его к мокрому, разбитому солнцу, вместе с тюленем-спасителем. После нескольких таких схваток со стихией, глянцевиный беньер вел тебя, – отдувающегося, влажно сопящего, дрожащего от холода, – на укатанную отливами полосу песка, где незабвенная босоногая старуха с седой щетиной на подбородке, мифическая мать всех этих океанских банщиков, быстро снимала с веревки и накидывала на тебя ворсистый плащ с капюшоном. В пахнущей сосной купальной кабинке перенимал тебя другой прислужник, горбун с лучистыми морщинками; он помогал выйти из набухшего водой, склизкого, отяжелевшего от прилипшего песка, костюма и приносил таз с упоительно горячей водой для омовения ног. От него я узнал, и навеки сохранил в стеклянной ячейке памяти, что бабочка на языке басков «мизериколетя»⁴².

3

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт. Ей должно было исполниться десять в ноябре, мне исполнилось десять в апреле. Она важно обратила мое внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей ее узкую, длиннопалую ступню. «Je suis Parisienne», объявила она, «et vous – are you English?»⁴³ В ее светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переправляющаяся в плывь часть веснушек, которыми было усыпано ее несколько эльфое, изящное, курносенькое лицо. Оттого что она носила по тогдашней английской моде синюю фуфайку и синие узкие вязаные штаны, закатанные выше колен, я еще накануне принял ее за мальчика, а теперь, слушая ее порывистый щебет, с удивлением видел браслетку на худенькой кисти, шелковистые спирали коричневых локонов, свисавших из-под ее матросской шапочки.

⁴² На самом деле, «мизирикоте», но Набокову нужно здесь предварить фонетически выход на сцену маленькой, «менее счастливой» Колетт.

⁴³ «Я из Парижа, а вы — вы англичанин?» (фр.)

Двумя годами раньше, на этом самом пляже, я был горячо увлечен другой своей однолетней, – прелестной, абрикосово-загорелой, с родинкой под сердцем, невероятно капризной Зиной, дочкой сербского врача; а еще раньше, в Болье, когда мне было лет пять, что ли, я был влюблен в румынскую темноглазую девочку, со странной фамилией Гика. Познакомившись же с Колетт, я понял, что вот это – настоящее. По сравнению с другими детьми, с которыми я игрывал на пляже в Биаррице, в ней было какое-то трогательное волшебство; я понимал, между прочим, что она менее счастлива, чем я, менее любима: синяк на ее тонко заштрихованном пушком запястье давал повод к ужасным догадкам. Как-то она сказала по поводу упущенного краба: «Он так же больно щиплется, как моя мама». Я придумывал разные героические способы спасти ее от ее родителей, – господина с нафабранными усами и дамы с овальным, «сделанным», словно эмалированным, лицом; моя мать спросила про них какого-то знакомого, и тот ответил, пожав плечом, «Ce sont des bourgeois de Paris»⁴⁴. Я по-своему объяснил себе эту пренебрежительную оценку, зная что они приехали из Парижа в Биарриц на своем сине-желтом лимузине (что не так уж часто делалось в 1909 году), а девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном «сидячем» вагоне обыкновенного *rapide*⁴⁵. Фокстерьер был экзальтированной сучкой с бубенчиком на ошейнике и виляющим задом. Из чистой жизнерадостности, эта собачка, бывало, лакала морскую воду, набранную Колетт в синее ведро: вижу яркий рисунок на нем – парус, закат и маяк, – но не могу припомнить имя собачки, и это мне так досадно.

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел ее только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших ее тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего ее. Она мне совала горсточками теплые от ее ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы ее локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «You little monkey»⁴⁶.

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? «Là-bas, là-bas dans la montagne»⁴⁷, как пела Кармен в недавно слышанной опере. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

О самом побеге мне почти нечего рассказать. В памяти только отдельные проблески: Колетт, с подветренной стороны хлопающей палатки, послушно надевает парусиновые туфли, пока я запикиваю в коричневый бумажный мешок складную рампетку для ловли андалузских бабочек. Убегая от погони, мы сунулись в кромешную темноту маленького кинематографа около казино, – что, разумеется, было совершенно незаконно. Там мы сидели, нежно соединив руки поверх фокстерьера, изредка позвякивавшего бубенчиком у Колетт на коленях, и смотрели судорожный, мигающий черным дождичком по белизне, но чрезвычайно увлекательный фильм – бой быков в Сан-Себастьяне. Последний проблеск: гувернер уводит меня вдоль променада: его длинные ноги шагают с грозной целеустремленностью; мой девятилетний брат, которого он ведет другой рукою, то и дело забегает вперед и, подобный совенку в своих больших очках, вглядывается с ужасом и любопытством в невозмутимого преступника.

Среди безделушек, накупленных перед отъездом из Биаррица, я любил больше всего не бычка из черного камня, с золочеными рогами, и не ассортимент гулких раковин, а до-

⁴⁴ «Они парижские мещане» (фр.)

⁴⁵ Скорого поезда (фр.)

⁴⁶ «Обезьянка ты такая» (англ.)

⁴⁷ «Туда, туда, скорее — в горы» (фр.)

вольно символический, как теперь выясняется, предметик, – вырезную пенковую ручку, с хрусталиком, вставленным в микроскопическое оконце на противоположном от пера конце. Если один глаз зажмурить, а другой приложить к хрусталику, да так, чтобы не мешал лучистый перелив собственных ресниц, то можно было увидеть в это волшебное отверстие цветную фотографию залива и скалы, увенчанной маяком. И вот тут-то, при этом сладчайшем содрогании Мнемозины, случается чудо: я снова пытаюсь вспомнить кличку фокстерьера, – и что же, заклинание действует! С дальнего того побережья, с гладко отсвечивающих вечерних песков прошлого, где каждый вдавленный пяткой Пятницы след заполняется водой и закатом, доносится, летит, отзываясь в звонком воздухе: Флосс, Флосс, Флосс!

По дороге в Россию, мы остановились на один день в Париже, куда уже успела вернуться Колетт. Там в рыжем, уже надевшем перчатки, парке, под холодной голубизной неба, верно по сговору между ее гувернанткой и нашим Максом, я видел Колетт в последний раз. Она явилась с обручем, и все в ней было изящно и ловко, в согласии с осенней парижской tenue-de-ville-pour-fillelles⁴⁸. Она взяла из рук гувернантки и передала моему довольному брату прощальный подарок – коробку драже, облитого крашеным сахаром миндаля, – который конечно предназначался мне одному; и тотчас же, едва взглянув на меня, побежала прочь, палочкой подгоняя по гравиям свой сверкающий обруч сквозь пестрые пятна солнца, вокруг бассейна, набитого листьями, упавшими с каштанов и кленов. Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая-то подробность в ней – ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, – похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики. И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная куда его приложить, а между тем она обегает меня все шибче, катя свой волшебный обруч, и наконец растворяется в тонких тенях, падающих на парковый гравий от переплета проводочных дужек, которыми огорожены астры и газон.

Условные знаки

1

В четвертый раз за столько же лет перед ними стоял вопрос, что можно подарить на рождение юноше с неизлечимо поврежденным рассудком. У него не было желаний. Человеческими руками сделанные предметы казались ему или гудящими ульями одному ему понятного зла, или принадлежали к тем грубым удобствам жизни, для которых не было места в его абстрактном мире. Отбросив несколько вещей, которые могли бы его обидеть или испугать (всякие хитроумные приспособления, например, совершенно исключались), его родители остановились на изящном, безобидном пустячке: корзинке с десятью разными сортами варенья в десяти склянках.

Ко времени его рождения они уже были давно женаты; прошло два десятка лет, и они совсем состарились. Ее тусклые седые волосы были причесаны кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (например, г-жи Соль из соседней квартиры, лицо которой было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охажку полевых цветов), она подставляла голую белизну кожи придиричивому весеннему свету. Муж ее, в предыдущей стране бывший довольно зажиточным коммерсантом, теперь полностью зависел от брата Исаака, настоящего американца с сорокалетним стажем. Они его видели редко и между собой называли «Принцем».

В ту пятницу все было не ладно. Поезд метро потерял жизненный ток между двумя станциями, и в продолжение четверти часа слышен был только добросовестный стук собственного сердца да шелест перелистываемых газет. Автобус, на который им нужно было потом пересесть, заставил их ждать целую вечность; а когда он наконец пришел, то оказался набитым галдящими школьниками. Шел сильный дождь, пока они поднимались по корич-

⁴⁸ Городской наряд для девочек (*фр.*)

невой дорожке к санатории. Там они опять ждали; и вместо их сына, который обыкновенно входил, шаркая, в комнату (его бедное прыщавое лицо, плохо выбритое, угрюмое и смущенное), появилась сестра, которую они знали и недолго любили, и бодро объяснила, что он опять пытался покончить с собой. Теперь, по ее словам, все было хорошо, но их посещение могло его расстроить. В заведении так явно не хватало служащих, и вещи так легко пропадали или попадали не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять подарка в конторе, а привезти его в свой следующий приезд.

Она подождала пока муж откроет зонтик и потом взяла его под руку. Он все прочищал горло особенным гулким способом, как и всегда, когда бывал огорчен. Они добрались до будки на автобусной остановке на другой стороне улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под качающимся, роняющим капли деревом, беспомощно подергивался в луже крохотный полумертвый птенец.

В продолжение долгого пути к станции метро они не обменялись ни словом; и всякий раз, что она взглядывала на его старческие руки (набухшие вены, кожа в коричневых крапинках), сложенные и подрагивавшие на ручке зонтика, она чувствовала нарастающий прилив слез. Когда она огляделась, пытаясь зацепиться за что-нибудь сознанием, она испытала как-бы легкое потрясение, смесь сострадания и изумления, заметив, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с грязными карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече пожилой женщины. На кого эта женщина была похожа? Она была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла замуж за одного из Соловейчиков – в Минске, давным-давно.

Когда он последний раз пытался это сделать, его метод, по словам доктора, был чудом изобретательности; он бы и достиг своего, когда бы завистливый сосед не подумал, что он учится летать, и не помешал ему. На самом же деле, он хотел проделать дыру в своем мире и бежать.

Разновидность его умственного расстройства послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем давно сами ее для себя определили. Герман Бринк назвал ее *Mania Referentia*, «соотносительная мания». В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, что все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. Живых людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя гораздо выше прочих в умственном отношении. Явления же природы следуют за ним куда бы он ни шел. Облака на небе не спускают с него глаз, и при помощи медленных сигналов передают друг другу невероятно подробные сведения о нем. Его сокровеннейшие мысли обсуждаются по вечерам, посредством ручной азбуки, загадочно жестикулирующими деревьями. Камушки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, и тема этого шифра – он сам. Иные из его соглядатаев – равнодушные наблюдатели, как например стеклянные поверхности и пруды стоячей воды; другие, например, пальто в витринах лавок, предубежденные свидетели, в душе сторонники немедленной расправы; третьи же (проточная вода, гроза), истеричные до потери разсудка, имеют о нем превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое значение. Он постоянно должен быть начеку и посвящать всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флюктуаций предметов. Самый воздух, который он вдыхает, заносится в реестр и подшивается к его делу. Если бы только интерес, вызываемый им, ограничивался его ближайшим окружением – но, увы, это было не так. При удалении поток диких наговоров становился громче и многословнее. Силуэты его кровавых шариков, увеличенные в миллионы раз, мелькают над просторными равнинами; а еще дальше – огромные горы невыносимой плотности и высоты подводят на языке гранита и стонущих елей итог основного смысла его бытия.

2

Когда они выбрались из грома и спертого воздуха метро, последний осадок дня смешивался с уличными огнями. Она хотела купить рыбы на ужин и поэтому передала ему корзинку с баночками желе и сказала идти домой. Он поднялся до площадки третьего этажа и тут вспомнил, что днем отдал ей свои ключи.

Он молча сел на ступени и молча поднялся, когда минут через десять она пришла, тяжело топая по лестнице, болезненно улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. Они вошли в свою двухкомнатную квартирку, и он тотчас же направился к зеркалу. Растянув углы рта большими пальцами, с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою новую, безнадежно неудобную челюсть, разделив длинные бивни слюны, соединявшие его с ней. Пока она накрывала на стол, он читал свою русскую газету. Продолжая читать, он съел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она понимала его настроение и тоже молчала.

Когда он ушел спать, она осталась в гостиной с колодой засаленных карт и своими старыми альбомами. Насупротив, через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по помятым мусорным бидонам, окна были невозмутимо освещены и в одном из них видно было мужчину в черных штанах, с закинутыми голыми локтями, лежавшего навзничь на развороченной постели. Она опустила жалюзи и стала разсматривать фотографии. В младенчестве у него было выражение более удивленное, чем бывает у большинства младенцев. Из альбома выпала немецкая горничная, которая была у них в Лейпциге, и ее толстолицый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг, накрененный фасад дома, очень неясно вышедший. В четыре года, в парке: пасмурный, застенчивый, с насупленным лбом, отворачивающийся от назойливой белки, как отворачивался от всего незнакомого. Тетя Роза, суетливая, худая, с безумным выражением глаз пожилая дама, жившая в трепетном мире дурных вестей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей – покуда немцы не убили ее вместе со всеми теми, о ком она тревожилась. Шесть лет – это когда он рисовал удивительных птиц с человеческими руками и ногами и по-взрослому страдал бессонницей. Его двоюродный брат, теперь известный шахматист. Опять он, лет восьми, его уже трудно было понимать, он уже боялся обоев в коридоре, боялся картинки в книге, на которой был всего лишь изображен идиллический пейзаж с большими камнями на склоне холма и со старым тележным колесом, висевшим на суке безлистого дерева. Десять: в тот год они уехали из Европы. Стыд, жалость, унижительные трудности, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той особой школе. А потом наступило в его жизни время, совпавшее с выздоровлением после воспаления легких, когда его мелкие страхи, которые его родители упорно считали причудами необычайно даровитого ребенка, как бы сгустились в плотный, перепутанный клубок логически сцепленных иллюзий, сделав его совершенно непроницаемым для нормального ума.

С этим, как и со многим другим, она мирилась – потому, что ведь, в конце концов, вся жизнь состоит сплошь из примирения с потерей одной радости за другой, в ее же случае, не просто радости, но даже возможности какого-нибудь просвета. Она думала о безконечных волнах боли, которую она и ее муж почему-то должны были выносить; о незримых гигантах, которые как-то невообразимо мучат ее мальчика; о неизмеримом количестве нежности, которая существует в мире; об участии этой нежности, которую давят, зря расточают, или превращают в безумие; о заброшенных детях, что-то шепчущих себе под нос в неметенных углах; о чудных сорных травах, которым некуда спрятаться от косца, вынужденных беспомощно видеть как его по-обезьяньи сутулая тень оставляет позади себя искромсанные цветы, меж тем как надвигается чудовищная тьма.

3

Было уже полночь, когда из гостиной послышался мужнин стон; и затем он прошаркал в комнату, в накинутаю поверх пижамы старом пальто с каракулевым воротником, которое он предпочитал своему хорошему синему халату.

– Я не могу заснуть, – крикнул он.

– Но почему, – спросила она, – почему ты не можешь заснуть? Ты ведь был такой усталый.

– Я не могу спать, потому что я умираю, – сказал он и лег на диван.

– Что это, желудок? Хочешь я позвоню доктору Солову?

– Не нужно докторов, не нужно, – проронил он. – К чорту докторов. Мы должны по-

скорее забрать его оттуда. Иначе вина ляжет на нас. На нас! – Повторил он и тотчас рывком сел, поставив ноги на пол и колотя по голове стиснутым кулаком.

– Хорошо, – сказала она спокойно, – мы завтра утром перевезем его домой.

– Мне бы чаю, – сказал муж и ушел в уборную.

С трудом нагнувшись, она подняла несколько карт и одну или две фотографии, соскользнувшие с дивана на пол; червонный валет, пиковая девятка, туз пик, Эльза и ее брутальный кавалер.

Он вернулся в лучшем настроении и громко сказал:

– Я все продумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый из нас будет проводить часть ночи возле него, а потом спать на диване. По очереди. Доктор будет навещать его по крайней мере два раза в неделю. Не важно, что скажет Принц. Ему и нечего будет сказать, потому что так выйдет дешевле.

Позвонил телефон. Обыкновенно в такой час их телефон не звонил. Его левая туфля соскочила с ноги, и он нашаривал ее пяткой и носком, стоя посреди комнаты, по-детски, беззубо, с разинутым ртом глядя на жену. Она обычно подходила к телефону, так как лучше его знала по-английски.

– Можно Чарли? – сказал девичий глуховатый голосок.

– Вам какой номер нужен? Нет. Это не тот номер.

Она мягко положила трубку. Ее рука потянулась к старому уставшему сердцу.

– Я испугалась, – сказала она.

Он быстро улыбнулся и тотчас продолжал свой взволнованный монолог. Завтра чем свет они поедут за ним. Ножи придется запирать в ящик. Даже в самые худшие свои дни он не представлял опасности для других.

Телефон позвонил в другой раз. Тот же встревоженный, лишенный выражения, молодой голос попросил Чарли.

– Это не тот номер. Я вам объясню, что вы делаете: вы вертите букву О вместо ноля.

Они сели за свой неожиданно праздничный полуночный чай. Подарок к рождению стоял на столе. Он шумно отхлебывал; лицо его раскраснелось; он то и дело поднимал стакан и качал его кругообразным движением, чтобы сахар скорее растворился. На его лысой голове, сбоку, где было большое родимое пятно, заметно выделялась жила, и хотя он побрился утром, серебристая щетина пробивалась у него на подбородке. Пока она наливала ему другой стакан, он надел очки и с удовольствием принялся заново пересматривать лучезарные желтые, зеленые, красные скляночки. Его неловкие мокрые губы с трудом читали звучные ярлыки: абрикос, виноград, слива морская, айва. Он дошел до райского яблочка, когда телефон зазвонил опять.

1948 г.

Помощник режиссера

1

Как это понимать? Да ведь жизнь иногда бывает всего-навсего помощником режиссера. Нынче вечером мы отправимся в кинематограф. Назад, в тридцатые годы, и еще дальше в двадцатые, и за угол, в старый Европейский фильмный дворец. Она была прославленной певицей⁴⁹. Не оперной, ни даже в стиле *Cavalleria Rusticana*, ничего подобного. Французы ее

⁴⁹ В библиографической справке к «Набоковой дюжине» (1958) Набоков замечает, что это единственный его рассказ, основанный на действительных происшествиях. Процесс генерала Скоблина и певицы Плевицкой был очень громким. В эмигрантской печати в то время писали, что Скоблина видели в Барселоне, потом он будто бы вынырнул в Хабаровске. В книге Костикова «Не будем проклинать изгнанье» (цитата из статьи Набокова «Юбилей», напечатанной в берлинской газете «Руль» 18-го ноября 1928-го года) — где со ссылкой на сведения, полученные как будто в архивах чекистов, прямо и, кажется, в первый раз признается, что Скоблин и Плевицкая были наемными советскими агентами (под кличками «Фермер» и «Фермерша»), устроившими похищение генералов Кутепова и Миллера, — ничего, однако, не говорится о дальнейшей участи Скоблина.

звали «Ля Славска». В ее манере было на одну десятую цыганщины, на седьмую – русской крестьянки (она и была из крестьян) и на пять девятых – площадной народности; под этим я разумею смесь поддельного фольклора, батальной мелодрамы и казенного патриотизма. Оставшейся доли будет как раз довольно, чтобы изобразить физическую красоту ее чрезвычайно сильного голоса.

Выйдя из самого сердца России (географически, по крайней мере), голос этот со временем достиг больших городов – Москвы, Петербурга и царского окружения, где такого рода стиль был в большом почете. Ее фотография висела в уборной Шаляпина: кокошник с жемчугами, рука, подпирающая щеку, сверкающие меж пухлых губ зубы, и крупным, корявым почерком, наискось: «Тебе, Федюша». Звездообразные снежинки, обнаруживая, перед тем как подтаять по краям, свою сложную симметрию, мягко садились на плечи, на обшлага, на усы, на шапки дождавшихся в очереди открытия билетной кассы. До самой смерти она более всего дорожила (или может быть, только притворялась, что дорожила) какой-то вычурной медалькой и огромной брошью – подарком Императрицы. Их поставила ювелирная фирма, с большой для себя выгодой подносявшая императорской чете на все праздники какой-нибудь символ (год от года все более дорогой) массивного самодержавия – аметистовую скалу с усыпанной рубинами бронзовой тройкой, застрявшей на ее вершине, как Ноев ковчег на Арарате, или хрустальный шар размером с арбуз, на который взгромоздился золотой орел с квадратными алмазными глазами, очень напоминающими распутинские (много лет спустя иные из менее символических предметов были выставлены Советами на Мировой Ярмарке как образцы их собственного процветающего искусства).

Если бы все и дальше шло так, как, казалось, все всегда будет идти, она, может быть, еще и сегодня пела бы в Дворянском собрании (с центральным отоплением) или в Царском, а я бы выключал ее радиоголос в каком-нибудь глухом углу мачехи-Сибири. Но судьба ошиблась поворотом, и когда случилась революция, а потом война Красных и Белых, ее расчетливая крестьянская душа выбрала ту сторону, которая была выгоднее.

Призрачные оравы призрачных казаков на призрачных же конях несутся вскачь по тающему имени помощника режиссера. Затем мы видим щеголеватого генерала Голубкова, беспечно обзирающего поле брани в театральный бинокль. Когда и мы, и кинематограф были молоды, нам в этих случаях показывали виды, аккуратно обведенные двумя соединенными кругами. Теперь не то. Вместо этого мы видим, как генерал Голубков, вся безмятежность которого вдруг разом пропала, прыгает в седло, на миг вздымается до небес на своем ставшем на дыбы коне, а затем врывается в гущу неистовой атаки.

Но неожиданность – это инфракрасное поле в спектре искусства: вместо условно-рефлекторного пулеметного ра-та-та издали доносится женский поющий голос. Он все приближается, приближается и наконец все собою заполняет. Великолепное контральто, крепнущее и переходящее в подобие русской песни, найденной в подсобном музыкальном режиссером. Кто это там, во главе инфракрасных? Женщина. Певучий гений этого особенно вымуштрованного батальона. Она марширует впереди всех, попирая люцерну и разливаясь песней о Волге-Волге. Дерзкий щеголь-джигит Голубков (теперь понятно, что он там разглядел в бинокль), хоть и изранен кругом, исхитряется подхватить ее на скаку и, несмотря на обольстительное ее сопротивление, унести.

Как это ни странно, жалкий этот сценарий был разыгран в действительной жизни. Я сам знал по крайней мере двух заслуживающих доверия очевидцев этого происшествия; да и часовые истории пропустили его беспрепятственно. Очень скоро мы видим, как она сводит с ума сидящих в столовой офицеров своей темной и пышной красотой и разудалыми песнями. Она была Китсовой Belle Dame с большим запасом *Merci*, и была в ней какая-то лихость, которой недоставало Луизе фон Ленц или Зеленой Лэди⁵⁰. Это она скрасила общее отступление белых, начавшееся вскоре после ее чудесного появления в лагере генерала Голубкова. Перед нами унылое зрелище не то воронов, не то ворон, не то каких-то еще птиц, которых удалось раздобыть для этого случая, парящих в сумерках и садящихся на усеянную телами

⁵⁰ Зеленая Лэди — из Артурова романа о Зеленом Рыцаре и Гавэйне, которого она безуспешно пыталась соблазнить. Кто такая «Луиза фон Ленц», сказать не могу и подозреваю, что здесь прячется анаграмма.

равнину где-то в Калифорнийском уезде Вентура. Мертвая рука офицера, не выпускающая медальона с портретом матери. У красного солдата, лежащего неподалеку, на изрешеченной пулями груди письмо из дому, и сквозь тающие строки проступают черты той же самой старухи.

А затем, по привычным правилам контраста, весьма кстати раздается мощный раскат музыки и песни, и ритмичный прихлоп в ладоши, и притоп сапогами, и мы застаем штаб-офицеров генерала Голубкова в разгаре кутежа – вот гибкий грузин, отплясывающий с кинжалом; вот претенциозный самовар, в котором отражаются перекошенные лица; «Славска», откидывающая голову с грудным смехом; вот толстяк-офицер, в стельку пьяный, с расстегнутым воротом в галунах, выпучив сальные губы для зверского поцелуя, перегибается через стол (опрокинутый бокал показывают крупным планом), чтобы обнять – пустоту, ибо жилистый и абсолютно трезвый генерал Голубков ловко отвел ее в сторону, и теперь они стоят лицом к компании, и он холодно и отчетливо говорит: «Господа, я хочу представить вам свою невесту» – и в наступившей гробовой тишине шальная пуля с улицы разбивает засиневшее перед рассветом окно, вслед за чем гром аплодисментов приветствует романтическую пару.

Скорее всего ее пленение не было совершенной случайностью. Кинематограф не терпит неопределенности. Еще меньше приходится сомневаться в том, что когда начался грандиозный исход из России, и их, подобно многим другим, занесло через Сиркеджи на Мотцштрассе и на рю Вожирар⁵¹, генерал с женой уже были в одной шайке, в одной песне, в одном шифре. Он совершенно естественно сделался активным членом союза Белых Воинов (БВ)⁵², часто разъезжая, учреждая военные курсы для русских мальчиков, устраивая благотворительные концерты, добывая жилье для нуждающихся, улаживая внутренние распри, и вся эта деятельность отнюдь не бросалась в глаза. Вероятно, этот союз БВ был небесполезен. Его духовному благополучию, однако, вредило то, что он не мог отгородиться от зарубежных монархических групп и, в отличие от эмигрантской интеллигенции, не чувствовал чудовищной пошлости и начатков гитлеризма в этих уморительно-жалких, но зловещих организациях. Когда благонамеренные американцы спрашивают меня, знаком ли я с полковником Имярек или с милым старым графом фон Фаронским, у меня не достает духу сказать им печальную правду.

Но с БВ были связаны и люди другого рода. Я имею в виду тех отчаянных смельчаков, которые помогали делу, переходя границу по плотно укутанному в снег ельнику, чтобы, побродив по родной земле под разными личинами, разработанными, как это ни странно, еще старшим поколением эсеров, преспокойно привезти обратно в маленькую парижскую кофейню под названием «Ешь Бублики» или в маленький берлинский кабачок без названия всякие полезные пустяки, которые шпионы обыкновенно поставляют тем, кто их нанял. Иные из этих людей как-то исподволь запутывались в сетях других держав и очень забавно подскакивали, если вам случалось подойти к такому сзади и хлопнуть его по плечу. Некоторые совершали эти переходы ради собственного удовольствия. Один или, может быть, двое и в самом деле верили, что каким-то таинственным путем готовят воскрешение священного, хотя и несколько затхлого, прошлого.

2

Мы теперь станем очевидцами до странного однообразной вереницы событий. Первым из председателей БВ умер вождь всего Белого движения, который был гораздо лучше всех прочих; и некоторые смутные симптомы, проявившиеся в ходе его внезапного недуга, указывали на тень отравителя. Следующий председатель, грузный, сильный мужчина с громко-подобным голосом и головой, как пушечное ядро, был похищен неизвестными лицами; и

⁵¹ Т. е. через Константинополь в те кварталы Берлина и Парижа, где селились русские эмигранты.

⁵² Подразумевается Российский Общевоинский Союз.

есть основания предполагать, что он умер от чрезмерной дозы хлороформа. Третий⁵³ председатель – но катушка с моим фильмом раскручивается слишком быстро. На самом деле понадобилось семь лет, чтобы устранить первых двух – не то чтобы этого нельзя было сделать скорее, а просто имелись особые обстоятельства, требовавшие очень точного расчета, чтобы постепенное восхождение одного лица совпадало с очередным неожиданно освободившимся постом. Объяснимся.

Голубков был не просто очень разносторонним шпионом (а именно, тройным агентом); у этого господина были к тому же чрезвычайные амбиции. Только тем, у кого нет любимых коньков или страстишек, может показаться странным то, что мечта возглавить организацию, бывшую всего лишь закатом над кладбищем, была так мила его сердцу. Ему этого хотелось дозарезу, только и всего. Труднее понять его уверенность в том, что ему удастся сохранить свою жалкую жизнь в столкновении двух грозных сил, рискованной поддержкой и деньгами которых он пользовался. Мне теперь понадобится все ваше внимание, – потому что жаль было бы упустить малейшую подробность этого дела.

Советскую сторону едва ли тревожила весьма маловероятная возможность того, что призрак Белой Армии когда-нибудь возобновит военные действия против их сплотившейся мощи; но их скорее всего чрезвычайно раздражало, что обрывки сведений о крепостях и фабриках, собираемые неуловимыми и назойливыми членами БВ, неизменно попадали в благодарные руки немцев. Немцев же очень мало занимали замысловатые различия в расцветке эмигрантской политики, но их бесил прямолинейный патриотизм председателя БВ, который то и дело мешал, из соображений порядочности, гладкому течению дружеского сотрудничества.

Бот почему генерал Голубков был сущей находкой. Советчики твердо верили, что под его началом шпионы БВ станут им все известны – и тогда их ловко снабдят ложной информацией, которую немцы жадно проглотят. Немцы были равным образом уверены, что с его помощью они непременно обзаведутся изрядным количеством собственных, безусловно надежных агентов, среди рядовых шпионов БВ. Ни та, ни другая сторона не питала никаких иллюзий насчет преданности Голубкова, но каждая рассчитывала обратить в свою пользу непостоянство предательства. Мечты о простых русских людях, о семьях, работающих в поте лица своего в отдаленных углах русского рассеяния, усердствующих в своем скромном, но честном ремесле, как если бы они жили в Саратове или Твери, производящих на свет художочных детей и простодушно верящих, что БВ – это как бы Круглый Стол Короля Артура, отстаивающий все, что было и будет славного, порядочного и сильного в баснословной России – такие мечты могут показаться фильмовым редакторам-хирургам наростом на основной теме.

При основании БВ кандидатура генерала Голубкова была (чисто теоретически, разумеется, так как никто не ожидал кончины главы движения) одной из последних в списке – не то чтобы офицеры не отдавали должного его легендарной храбрости, а просто он был самым молодым генералом в армии. Ко времени очередных выборов председателя Голубков уже обнаружил такие выдающиеся способности организатора, что, как ему казалось, он может без хлопот вычеркнуть из списка несколько выше его стоящих имен, сохранив таким образом жизнь их обладателям. После того как и второго генерала убрали, многие члены БВ не сомневались, что следующий кандидат, генерал Федченко, уступит более молодому и энергичному человеку привилегию, на которую ему, Федченке, давали право возраст, репутация и общее образование. Тем не менее этот пожилой господин, хотя и находил привилегию эту сомнительной, почел недостойным уклониться от поста, стоившего жизни двум людям. Так что Голубкову пришлось заново точить зубы и начинать новый подкоп.

Внешне он был невзрачен. В нем не было ничего от распространенного типа русского генерала, никакой такой добродушной, пучеглазой, толстошеей дородности. Он был поджар, щупл, с заостренными чертами, усами щеточкой и волосами, стриженными ежиком. На волосатом запястье он носил тонкую серебряную цепочку и, бывало, предлагал вам аккурат-

⁵³ Имеются в виду барон Врангель и генералы Кутепов и Миллер, из которых первый был, по-видимому, отравлен, а двое других похищены и убиты чекистами.

ные русские папиросы-самокрутки или английские, черносливом пахнущие «Капстены» (в его произношении), плотно уложенные в старой просторной папироснице черной кожи, которая прошла с ним сквозь подразумеваемый дым бесчисленных баталий. Он был в высшей степени любезен и в той же степени незаметен.

Всякий раз, когда у «Славской» бывали приемы, что обыкновенно случалось в домах ее разных покровителей (какого-то остзейского барона, или некоего д-ра Бахраха, первая жена которого была некогда знаменита в роли Кармен, или русского купца старой закалки, очень удобно устроившегося в обезумевшем от инфляции Берлине, скупая целые кварталы по десяти английских фунтов за штуку), ее молчаливый муж неприметно пробирался между гостями, предлагая вам то бутерброд с колбасой и огурцами, то заиндевшую стопку водки; и покамест «Славска» пела (а на таких полудомашних пирушках она как правило пела сидя, подперев щеку кулаком и поставив локоть на ладонь другой руки), он стоял в сторонке, прислонясь к чему-нибудь, или шел на цыпочках к отдаленной пепельнице, которую затем мягко ставил на туго набитый подлокотник вашего кресла.

Я считаю, что с художественной точки зрения он переигрывал незначительность своей роли, невольно внося в нее элемент как бы наемного лакейства – что теперь представляется на редкость удачным; впрочем, он, конечно, пытался устроить свое существование по принципу контраста и должен был получать восхитительное удовольствие оттого, что знал наверное по некоторым приятным признакам (наклон головы, скошенный взгляд), что такой-то в дальнем конце залы обращал внимание новоприбывшего гостя на то удивительное обстоятельство, что этот неприметный, скромный человек совершал беспримерные подвиги во время легендарной войны (в одиночку брал города и прочая).

3

Немецкие кинематографические фирмы, которые в те годы (как раз перед тем, как дитя света⁵⁴ выучилось говорить) росли, как ядовитые грибы, находили очень выгодным для себя нанимать тех русских эмигрантов, единственной надеждой и профессией которых было их прошлое (иными словами, людей, абсолютно оторванных от действительности), на роли «настоящих» зрителей в фильмах. На человека щепетильного это соединение одной фантазии с другой производило впечатление Зеркальной Залы, или вернее, зеркального застенка, причем неизвестно, где стекло, а где ты сам.

И в самом деле, когда вспоминаю салоны, в которых пела «Славска», в Берлине и в Париже, и людей, которых там можно было встретить, я как будто расцветываю и озвучиваю какую-то очень старую фильму, где жизнь серо подрагивала, на похоронах бегали рысцой, и только море было подкрашено (в иссиня-тошный цвет), а какой-то ручной аппарат за сценой не в так имитировал шипение прибоа. Некая сомнительная личность, наводивший ужас на эмигрантские благотворительные организации, плешивый господин с безуминкой во взгляде, медленно проплывает через поле моего зрения, с ногами, сложенными для сидячей позы, как пожилой зародыш, и потом чудесно вписывается в кресло в заднем ряду. Наш приятель граф тоже здесь, а с ним его стоячий ворот и потускневшие от пыли гамаша. Почтенный, но светский священник, у которого крест слегка колышется на широкой груди, сидит в первом ряду и смотрит прямо.

Номера программы этих ура-патриотических празднеств, с которыми в моей памяти связано имя «Славска», были столь же неправдоподобны, что и публика, их посещавшая. Артист варьете с псевдославянской фамилией, один из тех гитаристов-виртуозов, что выступают первым дешевым номером в эстрадных концертах, был здесь как нельзя кстати; и сверкающие украшения на его зеркально-отполированном инструменте, и его лазурного цвета шелковые штаны прекрасно гармонировали с остальными атрибутами этого действия. Потом какой-нибудь бородатый старый хрыч в поношенной визитке, бывший член общества «За Святую Русь», открывал вечер речью, в которой красочно описывал, что делают с русским народом разные фармазоны и гершензоны (два тайных семитских племени).

⁵⁴ Т. е. проекционного света, конечно, а не du monde.

Ну а теперь, дамы и господа, нам доставляет особенное удовольствие... – и вот она стоит на жутком фоне фикусов и национальных флагов и проводит бледным языком по густо-накрашенным губам, небрежно сцепив зятянутые в лайку руки на зятянупом в корсет живоме, а ее постояннй аккомпаниатор с беломраморным лицом, Иосиф Левинский, который был с ней, в тени ее песни, и в собственной концертной зале императора, и с салоне товарища Луначарского, и в неудобосказуемых местах в Константинополе, играет краткую вступительную серию словно сбегающих по лестнице нот.

Иногда, если аудитория была подходящая, она сначала пела русский гимн, а уж потом приступала к своему ограниченному, но пользовавшемуся неизменным успехом репертуару. Тут непременно бывала унылая «Старая Калужская дорога» (где в сосну ударяет молния на сорок девятой версте), и та, что начинается (в немецком переводе, напечатанном под русским текстом) «Du bist im Schnee begraben, mein Russland»⁵⁵, и старинная народная песня (сочиненная одним частным лицом в восьмидесятые годы) о вожде разбойников и его персидской красавице-княжне, которую он бросил в Волгу, когда его ватага обвинила его в мягкотелости.

Художественного вкуса у нее не было никакого, техника расхлябанная, манера исполнения отвратительная; но все, для кого музыка и переживания неразделимы, кто любит, чтобы песни были медиумами для духов обстоятельств, при которых они были когда-то впервые услышаны тобой, с благодарностью находили в сильных переливах ее голоса ностальгическое утешение и вместе удовлетворение патриотического чувства. Считалось, что она особенно хороша, когда в ее пении звучала лихая бесшабашность. Если бы эта ее удале не была такой грубой подделкой, она еще могла бы избежать крайней степени пошлости. Ее душа, маленькая, жесткая, торчала из песни, и самое большее, на что ее темперамент был способен, это произвести рябь на поверхности – на вольный поток его не хватало. Когда теперь, в каком-нибудь русском семействе, заводят патефон и я слышу ее граммофонное контральто, я не без содрогания вспоминаю, как фальшиво она притворялась, что достигла высшего вокального экстаза, в последнем страстном вопле выставляя напоказ анатомию своего рта, причем ее вороные волосы красиво лежат волнами, скрещенные руки прижаты к нагрудной медальке на ленте, она принимает бешеные рукоплескания, и ее дородное, смугловатое тело не сгибается даже тогда, когда она кланяется, потому что умято в прочный се-ребристый атлас, в котором она кажется повелительницей снегов или почетной русалкой.

4

В следующем эпизоде вы видите ее (если цензор не сочтет, что он задевает чувства верующих) стоящей на коленях в медовом мареве набитой людьми русской церкви и навзрыд плачущей рядом с женой или вдовой (она-то, впрочем, это знала совершенно точно) генерала, похищение которого было так замечательно продумано ее мужем и так ловко произведено умелыми, безымянными верзилами, посланными хозяином в Париж.

Затем вы видите ее уже года через два или три; она поет в каком-то апартамента на улице Жорж Занд, в окружении поклонников – обратите внимание на то, как слегка сузились ее глаза, как потухает ее сценическая улыбка, когда муж, которого задержало обсуждение последних деталей предстоявшего дела, тихонько проскальзывает в комнату и мягким жестом отклоняет поползновение полковника с проседью уступить ему стул; и сквозь машинальное течение песни, исполняемой в десятитысячный раз, она неотрывно смотрит на него (она, как Анна Каренина, немного близорука), пытаясь разглядеть какой-нибудь определенный знак, а потом, когда она тонет, а его крашенные челны уплывают, и последняя, красноречивая, кругами разбегающаяся рябь на Волге, в Самарском уезде, растворяется в серой вечности (ибо это ее самая последняя песня – больше ей уж не петь), ее муж подходит к ней и говорит голосом, которого не может перекрыть никакой плеск человеческих рук: «Маша, завтра дерево будет срублено!»

Эта фраза была единственным драматическим жестом, который Голубков позволил

⁵⁵ «Замело тебя снегом, Россия» (нем.)

себе в продолжение своей голубино-сизой карьеры. Несдержанность эта покажется прости-тельной, если вспомним, что это был последний генерал на его пути и что событие следующего дня должно было автоматически привести его к избранию в председатели. В последнее время их друзья беззлобно подтрунивали (русский юмор что пичужка, которая и крошкой сыта бывает) над забавной небольшой размолвкой между этими двумя взрослыми детьми: она капризно требовала срубить гигантский старый тополь, застивший окно ее комнаты в их летнем загородном доме, а он твердил, что кряжистый старик самый зеленый из ее поклонников (вот умора-то!), поэтому его надо пощадить. Заметьте также добродушное кокетство, с каким полная дама в горностаевой пелерине выговаривает галантному генералу за то, что он так скоро уступил, и лучезарную улыбку «Славской», и ее распахнутые, студенисто-холодные руки.

На другой день, под вечер, генерал Голубков привел жену к ее портнихе, посидел там с номером «Пари-Суар», а потом был послан домой за одним из платьев, которое она хотела сделать посвободней, да забыла взять с собой. Через подходящие промежутки времени она разыгрывала более или менее убедительные инсценировки телефонных переговоров, с великими подробностями руководя его поисками. Армянка-портниха и белошвейка, маленькая княгиня Туманова, очень потешались разнообразием ее простонародных ругательств (которые приходили на подмогу ее иссякающему воображению, не справлявшемуся с ролью в одиночку). Это протертое до дыр алиби не предназначалось для латания прошедших времен, если что-нибудь сорвется – ведь сорваться ничего не могло; его придумали просто для того, чтобы снабдить человека, которого никоим образом никто не мог заподозрить, перечнем заурядных поступков, когда пожелают выяснить, кто видел генерала Федченко последним. После того как изрядное количество воображаемых шкапов было обшарено, Голубков явился с платьем (разумеется, загодя положенным в автомобиль). Он опять взялся за газету, в то время как его жена продолжала примерять туалеты.

5

Тридцати пяти приблизительно минут, в течение которых он отсутствовал, оказалось вполне достаточно. К тому времени, когда она начала разыгрывать фарс с мертвым телефоном, он уже подобрал генерала на малолюдном углу и вез его на вымышленное деловое свидание, обстоятельства которого были заранее сфабрикованы таким образом, чтобы его секретность выглядела естественной, а участие в нем – необходимым. Через несколько минут он затормазил, и они оба вышли из автомобиля. «Это не та улица», – сказал генерал Федченко. «Да, – сказал генерал Голубков, – но здесь удобнее оставить автомобиль. Незачем держать его прямо перед кафе. Этим переулком мы срежем угол. Тут всего две минуты пешком». «Что ж, идемте», – сказал старик и кашлянул.

В этой части Парижа улицы носили имена философов, и переулок, по которому они шли, был назван каким-то начитанным муниципальным деятелем рю Пьер Лябим⁵⁶. Он плавно вел вас мимо темной церкви и строительных подмостьев к каким-то частным домам со ставнями, стоявшим где-то на отшибе, окруженным палисадниками за железной оградой, на которой умиравшие кленовые листья задерживались, слетая с голой ветки на мокрую панель. По левой стороне этого переулка шла длинная стена, серую шероховатость которой там и сям прерывали кирпичные крестословицы; в одном месте этой стены имелась небольшая зеленая дверь.

Когда они подошли к ней, генерал Голубков достал свою выдавшую виды папиросницу и остановился, чтобы закурить. Генерал Федченко, хоть и не курил, из вежливости остановился тоже. Порывистый ветер ерошил сумерки, и первая спичка погасла. «Мне все-таки кажется, – сказал генерал Федченко по поводу какого-то мелкого дела, которое они незадолго перед тем обсуждали, – мне все-таки кажется, – сказал он (чтобы сказать что-нибудь, пока он стоял у этой зеленой дверцы), – что если отец Федор непременно желает платить за все эти комнаты из своих средств, то мы по крайней мере должны обеспечить уголь». Вто-

⁵⁶ L'Abîme значит «пропасть» по-французски.

рая спичка тоже погасла. Спина прохожего, удалявшегося в туман, наконец растворилась в нем. Генерал Голубков зычно выбрал ветер, и по этому довольно прозрачному сигналу зеленая дверь отворилась, и три пары рук с невероятной быстротой и сноровкой уволокли старика. Дверь захлопнулась. Генерал Голубков закурил папиросу и торопливо зашагал в обратном направлении.

Старик как в воду канул. Скромные иностранцы, снимавшие некий скромный домик в продолжение одного безмятежного месяца, были невинными голландцами или датчанами. Все было оптическим обманом, и только. Никакой зеленой двери нет, зато есть серая, открыть которую нельзя никакими человеческими силами. Тщетно я просматривал самые лучшие энциклопедии – философа по имени Пьер Лябим не существует.

Но я заметил что-то жабье, появившееся в ее взгляде. Есть русская поговорка: всего двое и есть – смерть да совесть. Человеческой природе свойственна одна чудесная черта: можно иногда не заметить своего хорошего поступка, но всегда знаешь, что поступил дурно. Один страшный преступник, жена которого была еще хуже его, поведал мне как-то, во дни, когда я еще был священником, что больше всего его угнетает внутренний стыд оттого, что еще более глубокий стыд не позволяет ему поговорить с ней вот о какой дилемме: презирает ли она его в глубине души или, может быть, втайне подозревает, что он презирает ее в глубине своей души. Вот отчего я так хорошо знаю выражение лица генерала Голубкова и его жены, когда они, наконец, остались наедине.

6

Ненадолго, однако. Около десяти часов вечера генерал Л., секретарь БВ, был оповещен генералом Р., что жена Федченки чрезвычайно обеспокоена необъяснимым отсутствием мужа. Тут только генерал Л. вспомнил, что около полудня председатель сказал ему как-то невзначай (таков, впрочем, был его обычай), что у него вечером есть дело в городе и что если он не вернется к восьми часам, то просил бы генерала Л. прочитать записку, оставленную им в среднем ящике своего письменного стола. Оба генерала бросились было в контору Союза, не добежав, остановились, бросились обратно за ключами, забытыми генералом Л., помчались обратно и, наконец, нашли записку. Она гласила:

«Меня одолевает странное предчувствие, которого потом, м. б., буду стыдиться. У меня назначено свидание в половине шестого в кофейне на улице Декарта, 45. Я должен встретиться с осведомителем противной стороны. Подозреваю западню. Все дело устроено генералом Голубковым, который везет меня туда в своем автомобиле».

Опустим то, что сказал генерал Л. и что ему ответил генерал Р.; очевидно, однако, что они оба были тугодумы, потому что потеряли еще несколько времени в сбивчивых переговорах по телефону с негодующим хозяином кофейни. Дело шло к полуночи, когда «Славска», одетая в цветастый халат и пытающаяся выглядеть заспанной, впустила их в квартиру. Ей не хотелось беспокоить мужа, который, по ее словам, уже спал. Она желала знать, в чем дело и не случилось ли чего худого с генералом Федченко. «Он исчез», – сказал прямодушный генерал Л. «Славска» сказала «Ах!» и грохнулась замертво, перебив по пути несколько предметов в гостиной. Вопреки мнению большинства ее почитателей, сцена не так уж много потеряла.

Каким-то образом генералы умудрились не проговориться Голубкову о записке, так что когда он вместе с ними пришел в штаб БВ, он был уверен, что они и вправду желали обсудить с ним вопрос о том, известить ли полицию немедленно или лучше сначала обратиться за советом к восьмидесяти-восьми-летнему адмиралу Громобоеву, который по какой-то загадочной причине считался Соломоном союза.

– Что это значит? – сказал генерал Л., подавая Голубкову роковую записку. – Потрудитесь прочесть, пожалуйста.

Голубков потрудился – и тотчас понял, что все пропало. Не станем заглядывать в про-

пасть его ощущений. Он отдал записку и пожал худыми плечами:

– Если только это действительно написано генералом, – сказал он, – а почерк, надо признать, очень напоминает его руку, то могу только сказать, что кто-то выдает себя за меня. Впрочем, я имею все основания полагать, что адмирал Громобоев снимет с меня подозрение. Предлагаю отправиться к нему безотлагательно.

– Да, – сказал генерал Л., – пожалуй, надо идти теперь, хотя уже очень поздно.

Генерал Голубков одним махом облачился в свой макинтош и вышел первым. Генерал Р. помог генералу Л. поднять с полу кашне, наполовину соскользнувшее с одного из тех стульев в прихожей, которым суждено служить не людям, а вещам. Генерал Л. вздохнул и надел старую фетровую шляпу, осторожно держа ее при этом обеими руками. Он направился к двери. «Одну минуту, генерал, – сказал генерал Р., понизив голос. – Позвольте вас спросить. Как офицер офицеру, совершенно ли вы уверены в том, что... гм, что генерал Голубков говорит правду?»

– А вот это-то мы и выясним, – ответил генерал Л., принадлежавший к числу людей, которые полагают, что всякая грамматически связанная фраза обладает смыслом.

Перед дверью каждый из них деликатно дотронулся до локтя другого. Наконец, тот, кто был чуть старше, согласился воспользоваться этой привилегией и бодро вышел. Потом оба они задержались на площадке, потому что лестница показалась им что-то уж очень тихой. «Генерал!» – крикнул генерал Л. в направлении нижних этажей. После чего они поглядели друг на друга. После чего они торопливо, неуклюже затопали вниз по неказистым ступенькам, выскочили наружу, остановились под черным, морозящим дождиком, поглядели туда-сюда, а потом опять друг на друга.

Ее арестовали рано утром. Во время дознания она ни разу не отступила от своей роли пораженной горем невинности. Французская полиция распутывала возможные путеводные нити дела на удивление вяло, словно бы считая исчезновение русских генералов каким-то курьезным туземным обычаем, восточным феноменом, как бы растворением в воздухе, чему, положим, случаться и не полагается, но чего предотвратить все равно невозможно. Впрочем, подозревали, что Suretée знала подноготную этого трюка с исчезновением лучше, чем дипломатические соображения позволяли это обсуждать. Иностранские газеты освещали всю эту историю в благодушно-насмешливом тоне, с легким налетом скуки. И вообще «L'affair Slavska» не наделало много шума – русские эмигранты определенно перестали привлекать к себе внимание. По забавному совпадению и немецкое телеграфное агентство, и советское сухо сообщили, что два белогвардейских генерала в Париже сбежали с казной Белой Армии.

7

Судебное разбирательство было на редкость неубедительным и запутанным, свидетели явно не блистали, и приговор «Славской» по обвинению в похищении был, с юридической точки зрения, небесспорен. Посторонние мелочи затемняли суть дела. Случайные люди вспоминали неслучайные детали, и наоборот. Был предъявлен счет «за срубленное дерево», подписанный каким-то хуторянином Гастоном Куло. Генералов Л. и Р. вконец измотал садист-адвокат. Парижский clochard, из тех колоритных, багровоносых, небритых субъектов (вот, кстати сказать, нетрудная роль), которые все свое земное имущество носят в поместительных карманах, а ноги укутывают в несколько слоев разодранных газет, когда лишатся последнего носка, и которых видишь удобно сидящими, широко раздвинув ноги, с бутылкой вина, привалившись к полуразрушенной стене недостроенного здания, дал леденящее показание, что с того места, где он находился, ему хорошо было видно, как лихо отделявали какого-то старика. Две русские дамы, одна из которых незадолго перед тем лечилась от сильных истерических припадков, сказали, что в день преступления видели, как генерал Голубков и генерал Федченко едут в автомобиле Голубкова. Русский скрипач, сидя в вагоне-ресторане немецкого поезда... – но к чему пересказывать все эти несуразные слухи.

В нескольких заключительных эпизодах мы видим «Славску» в тюрьме. Вот она смиренно вяжет в уголке. Вот пишет закапанные слезами письма мадам Федченко, в которых

говорит, что теперь они стали как бы сестры, потому что и у той и у другой муж захвачен большевиками. Вот просит, чтобы ей разрешили пользоваться губным карандашом. Плачет и молится на руках бледной юной русской монахини, пришедшей поведать ей о своем видении, в котором ей открылось, что генерал Голубков невиновен. Умоляет дать ей Новый Завет, который полиция конфисковала, – главным образом для того, чтобы он опять не попал в руки экспертов, так удачно начавших было расшифровывать некие пометы на полях Евангелия от Иоанна. Вскоре после начала Второй мировой войны у нее обнаружилось какое-то непонятное внутреннее заболевание, и когда однажды летним утром три немецких офицера пришли в тюремный лазарет, чтобы незамедлительно с ней увидеться, им сказали, что она умерла, – и, возможно, так оно и было на самом деле.

Интересно, удалось ли ее мужу как-нибудь дать ей знать о своем местонахождении или он решил, что безопаснее будет бросить ее на произвол судьбы. Куда же он делся, бедный *perdu*? Зеркала вероятий не заменят глазка точных сведений. Может быть, он нашел прибежище в Германии и получил там мелкую канцелярскую должность в Бедкеревском Училище Молодых Шпионов. Может быть, вернулся в страну, где когда-то брал в одиночку города. А может быть и нет. Может быть, его вызвал к себе тот, кто был его самым главным начальником, и сказал (с тем легким иностранным выговором и с той подчеркнуто-холодной вежливостью, которые мы все так хорошо знаем): «Боюсь, друг мой, что ви нам более нье нужни» – и когда N. поворачивается и идет к двери, холеный палец д-ра Пуппенмейстера нажимает кнопку с края равнодушного письменного стола, и под ногами N. разверзается люк, и он проваливается туда и погибает («слишком много знает»), – или ломает лучевую кость, проломив потолок и свалившись прямо в гостиную пожилой четы этажом ниже.

Так или иначе, представление окончено. Вы помогаете своей подружке надеть пальто и вливаетесь в медленный поток стремящихся к выходу вам подобных. Пожарные двери ведут на неожиданные задворки ночи, вбирая в себя ближние людские ручейки. Если вы, как и я, чтобы не заблудиться, предпочитаете выбираться наружу тем же путем, что пришли, то вы опять пройдете мимо рекламных плакатов, казавшихся два часа тому назад такими заманчивыми. Русский кавалерист в полупольском мундире свешивается со своей поло пони и подхватывает свою зазнобу в красных сапожках, с черными локонами, высыпавшимися из-под каракулевой кубанки. Триумфальная Арка прислонилась к Кремлю с его расплывчатыми куполами. Генерал Голубков передает кипу секретных бумаг агенту некоей Иностранной Державы, у которого в глазу монокуляр... Ну-ка, живее, дети, выйдем отсюда в трезвую ночь, в шаркающий покой знакомых панелей, в надежный мир хороших веснушчатых мальчиков и духа товарищества. Здравствуй, явь! Эта осязаемая папироска должна подкрепить нас после всей этой действующей на нервы ерунды. Вон, видите, идущий впереди нас худой, щеголеватый мужчина тоже закуривает, постучав своей «луки-страйкой»⁵⁷ по крышке старой кожаной папиросницы.

Бостон, 1943 г.

Пильграм

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом; далее она становилась значительно оживленнее; по правой руке появлялись: фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арапчонка в чалме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг – магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные напоказ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя: «Какие краски, – невероятно!» – и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задержи-

⁵⁷ Lucky Strike, марка дешевых американских папирос, в произношении, искаженном русским акцентом.

вались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой, плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближающийся к остановке трамвай. И еще запоминались мельком: глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг.

Затем шли опять обыкновенные лавки – галантерейная, угольный склад, булочная, а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик, булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты: выигравший очередную ставку тотчас заказывал четыре пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными, слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. «Раз, два и три», – приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждой об стол. После чего появлялась новая партия пива.

Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка; тот медлил, прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк хозяин называл его «господин профессор», присаживался бывало к его столу, говорил: «Ну-с, как поживает господин профессор?» – и тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него, прежде чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой – вроде слона, собирающегося вобрать то, что несет ему хобот, – говорил что-нибудь грубое и насмешливое, хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали.

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и, когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил.

Шел он по панели чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: «Пильграм». Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор; днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел – прямо из тесной гостиной с буро-малиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, – темный проход, полный хлама. Когда, в субботнюю ночь, Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели, и жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться, и тогда он с урчащей угрозой в голосе велел ей утихнуть и повторял слово «тихо» несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, – удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, – Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню, – низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил.

Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, – это был сон по шаб-

лону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бюргера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле этот сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел – без ведома жены и соседей – необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой, – молчаливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, – ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавшей, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным, – такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец – моряк, шатун, пройдоха, – женился уже под старость на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками, но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучела колибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век, там и сям, парчовые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье, – потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они в свою очередь начали сдавать: пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, – наиболее крупные, привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшение для комнаты, а не гордость ученого, – выставлены были в витрине, меж тем как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глоболя, хранились драгоценнейшие коллекции, все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, – стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие темные шкапы, – и все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность: тяжелые коричневые куколки, с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки, хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху и стоили недорого, – и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные твари – маленькие черепахи ювелирного образа или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синеврюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое.

Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный, венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал и только иногда, по воскресеньям, летом, уезжал за город в скучные, песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, – или же на ивовом кусте отыскивал большую, голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он

держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, – замирание, приговорки восторга, – и, как вещь, ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело – торговать сукном, – он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья: счастье заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому, самому ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупо капающую влагу и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда все у него было готово к отъезду, – он даже приобрел тропический шлем; когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, – как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое страшное, – то, что случается только в кошмарах, – произошло через несколько лет после войны: сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которую он держал в руках, эта вполне реальная сгущенная возможность счастья, вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился...

Покупатели были сравнительно нередки, но приобретали только мелочь, скупались, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил; Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндаем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда, молча, стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или, мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзая ногтями под тугие края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. «Да, это самочка», – говорил коллега, наклоняясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сяжки отломались бы при малейшем толчке, – или так по крайней мере казалось, – и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту много стоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случалось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка; Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и, только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон.

Погодя коллега, подняв шляпу со стола, уходил, но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивая что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки, – и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливым и другим недоступным. Если бы он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном, – и только тогда запомнил бы Эректеон, если бы с листа оливы,

растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая до-стопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, – а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в Южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге, – знаменитые, всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, – эти места, славные своей фауной, Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой, из черной, щедрой ночи, влетела и стремительно закружилась, стучаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Генериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот, другой остров – давнюю любовь охотников, – где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренастый корсиканский махаон. Он посещал и север – болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, – и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, – и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пильграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст, и вот появлялся невесть откуда, с жужжанием на низкой ноте олеандровый бражник, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный Уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, – и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство, почти нестерпимое, сладкое, обморочное; он ловил сафирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной, черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, – и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц, с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиной в палец.

«Да, да, да», – бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, – и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкапов. И вот однажды в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, – Пильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, – и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями.

Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стекляннстых видов замечательной породы, подражающей комарам, осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше семидесяти пяти марок не выручит, на самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч, и что любитель, которому

он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель, однако, не появлялся, на письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, – и тогда Пильграм запер шкаф с коллекцией, и перестал о ней думать. И вот в апреле, – как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, – явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь пфеннигов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пильграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. «А вот эти, неужели тоже бабочки?» – спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос, Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких, – пять тысяч экземпляров, – и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. «Вроде комаров», – сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крикнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стеклянистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес «polaris», чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и, наконец, когда был произнесен небрежный вопрос: «Сколько же это все стоит, вероятно, недорого?» – Пильграм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, и выяснилось, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер, да-да, знаменитый Зоммер... И тогда он понял, что совершится сделка.

Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкаф с определенным родом, – видам которого, пушистым, с яркими задними крыльями, даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, – и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который и продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года, – и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра – старость, и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашения.

Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал, в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной и куда летом, – и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное и грузно присел на табурет. Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать, – и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, – и затем, волоча ногу, багровый, с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто случившееся давным давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, – вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. «Ладно, Бог с вами, – сказал он, – доставьте ко мне нынче же...» И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом.

Перевозка шкапа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрепя сердце, отдал пятьдесят марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета, в виде тетрадки с разноцветными отрывными листами относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько

именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет погода, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще, это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. «Шампанское», – сказала она, уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил, она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно, и, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться: скорый на Кельн отходил в восемь двадцать. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности – складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, – хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из носильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаяк, – остальное неважно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тещи. Затем он с ног до головы переделался, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. «Элеонора», – позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте, и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. «Пора, – сказал Пильграм, – пора», – и, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но, как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, и тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастья, – это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой, и, стараясь не поддаваться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его руки и разбилась на полу, монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать.

Подошла ночь, скользкая, отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, – и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, – и, когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая: «Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц».

На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может, поехать вдогонку... Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины... Мысль, что муж действитель-

но уехал, не умещалась у нее в мозгу, ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закричит, снимая сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое, – человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил Бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять, – но она все продолжала сидеть неподвижно, – растрепанная, в светлых перчатках.

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин, – вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, – бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сажками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно неважно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа, сидящего на полу, среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим, кривым лицом, давно мертвого.

Облако, озеро, башня

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за все зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге, да кроме того раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, т. е. как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона, – одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сестра. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и таким образом брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему случайно судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные – как все еще нам незнакомые – спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездом поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо-третьего класса, и Василий

Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», – и дивное о румянном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, – мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, все время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеспоездок.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем – облегченно – полями, и понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения, и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться милочными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, – а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, – полянка, терраса, – такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, – что, кажется, вот бы остановить поезд и – туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертясь в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов – пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, – и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу – в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, – и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками.

Всем были розданы нотные листки со стихами от общества:

Распростись с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, чорт возьми.

Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, – но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно шурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер, и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, – это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. В виду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат, тормозили, расспрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия, – словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и пронзая душу, подальше на пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужасен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках. С перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью.

– В Царицыне, – говорил чиновник, – теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести подмышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъябочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурки.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полднем привале немед-

ленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгреззы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих.

– Знаете, я сниму ее на всю жизнь, – будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, – напротив, это была самая дюжинная комната, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, – но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще неиспытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество – книги, синий костюм, ее фотографию. Все выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

– Друзья мои, – крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. – Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

– То есть как это? – странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линия улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

– А что? – пролепетал он. – Я здесь решил...

– Молчать! – вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. – Опомнись, пьяная свинья!

– Постойте, господа, – сказал предводитель, – одну минуточку, – и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

– Вы должно быть, действительно, подвыпили, – сказал он спокойно. – Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту – посмотрите у себя на билете – мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас – в данном случае вы – отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, – вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

– Нас ждет пиво в Эвальде, – ласково сказал Шрам. – Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон, Угольные копи. Масса интересного.

– Я буду жаловаться, – завопил Василий Иванович. – Отдайте мне мой мешок. Я вправду остаюсь где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, – будто добавил он, когда его подхватили под руки.

– Если нужно, мы вас понесем, – сказал предводитель, – но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропщущая чаща. Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как чорт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

Мариенбад, 1937 г.

Жанровая сцена, 1945 г

У меня есть один малопочтенный тезка, с тем же именем и той же фамилией, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где я жил в середине двадцатых годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я сам, покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр «Протоколов Сионских Мудрецов». Книжка эта (которой в былое время мечтательно зачитывался император) была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным мошенником по заказу тайной полиции; ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, «популярный и ценный труд» уже больше года. Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносило моего однофамильца.

Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым эмигрантом безусловно черносотенной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал упущенное традиционным способом. Он, видимо, много скитался; я тоже, – и на том наше сходство и кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня, не приходится ли мне братом некто женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то раз весной, в Ницце, в мою гостиницу зашла девушка с безразличным лицом и длинными серьгами, сказала, что хочет меня повидать, а увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось: «Ne viens pas Alphonse de retour soupçonne sois prudent je t'adore angoissee»⁵⁸, и, признаюсь, я испытал род мрачного удовольствия, вообразив как мой повеса-двойник, неотвратимо врывается с букетом цветов в апартамент и застаёт там Альфонса с женой. Несколько лет спустя я читал лекции в Цюрихе, где меня неожиданно арестовали по обвинению в том, что я, дескать, расколотил три зеркала в ресторане – прямо триптих какой-то, на котором изображен мой тезка сначала пьяным (зеркало первое), потом очень пьяным (второе) и, наконец, буйно пьяным (третье). Кончилось тем, что в 1938-м году французский консул без дальних слов отказался поставить печать на моем потрепанном, зеленоватом нансеновском паспорте, потому что, по его словам, я уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухлом досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко подстри-

⁵⁸ «Не приезжай Альфонс вернулся подозревает будем благоразумны обожаю тоскую» (фр.)

женные усы и волосы бобриком.

Когда вскоре после того я перебрался в Соединенные Штаты и осел в Бостоне, я был уверен, что мне удалось отделаться от этой нелепой тени. Затем – а именно, в прошлом месяце, – у меня звонит телефон. Громкий, светлый женский голос назвался мадам Сивиллой Галль, близкой приятельницей мадам Шарп, которая в письме просила ее связаться со мной. Я был знаком с одной мадам Шарп и мне не пришло в голову, что речь могла идти о какой-то другой Шарп и что меня самого принимают за кого-то другого. Медоточивая мадам Галль сказала, что у нее на квартире собирается небольшая компания в пятницу вечером – так не могу ли я прийти – судя по тому, что она обо мне слышала, мне будет весьма и весьма интересно. Хоть я и не терплю никаких сходов, я решил принять приглашение, вообразив, что отказом могу как-нибудь огорчить мадам Шарп, милую, коротко стриженую, пожилую даму в буро-малиновых штанах, с которой я познакомился на Кейп-Коде, где она жила на даче с какой-то женщиной помоложе; обе дамы были посредственными художницами левого направления и независимых средств, вполне любезные.

Вследствие неприятности, не имеющей отношения к предмету настоящего повествования, я явился к дому, где жила мадам Галль, значительно позже, чем предполагал. Очень древний лифтер, удивительно похожий на Рихарда Вагнера, угрюмо отвез меня наверх, и не улыбаясь горничная мадам Галль, у которой длинные руки свисали по бокам, ждала пока я сниму пальто и галоши в передней. Главным украшением тут была одна из тех орнаментальных и, должно быть, чрезвычайно древних китайских ваз – в данном случае, высокая, слащавого цвета махина – которые неизменно приводят меня в ужасно подавленное расположение духа.

Проходя через претенциозную комнатку, набитую символами того, что сочинители коммерческих реклам называют «аттрибутами эlegantного быта», и будучи ведом – теоретически, ибо горничная испарилась, – в большую, мягко освещенную, буржуазную гостиную, я начал понимать, что в таких именно местах вас могут познакомить с каким-нибудь старым олухом, едавшим икорку в Кремле, или с лубяным советским гражданином, и что моя приятельница мадам Шарп всегда почему-то пенявшая мне за мое презрение к Партийной Линии и к Коммунисту с его Голосом Хозяина, пожалуй, решила, бедняжка, что такое испытание благотворно скажется на моей кошунственной душе.

Хозяйка дома – оказавшаяся долголягой, плоскогрудой женщиной, с краской от губной помады на выпирающих резцах – отделилась от группы человек в двенадцать. Она наскоро представила меня почетному гостю и остальным ее гостям, и беседа, прерванная моим приходом, тотчас возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был хрупкого сложения человек с гладкозачесанными темными волосами и лоснившимся лбом, и лампа на высоком стебле у его плеча так ярко освещала его, что можно было разглядеть чешуйки перхоти на отвороте его сюртука и любоваться белизной его сцепленных рук, одна из которых, как мне пришлось убедиться, была невероятно вялой и влажной. У людей этого рода уже через два часа после бритья, когда непритязательная пудра сотрется, слабый подбородок, впалые щеки и несчастливый кадык обнаруживают сложное сочетание розовых пятен, покрытых иссиня-серой штриховкой. Он носил перстень с печаткой, и мне неизвестно отчего вспомнилась одна смуглая русская девушка из Нью-Йорка, которая так боялась, что ее могут по недоразумению принять за то, что у нее соответствовало понятию «еврейки», что она носила крест на горле, хотя имела столь же мало религиозного чувства, сколь и ума. Он говорил по-английски удивительно свободно, но его твердое произношение «джер» в слове «Германия» и упорно повторявшийся эпитет «wonderful», первый слог которого у него звучал как «вон», выдавали его тевтонское происхождение⁵⁹. Он был, не то прежде, не то теперь или, может быть, собирался стать, профессором немецкого языка или музыки, или того и другого, где-то на Среднем Западе, но я не расслышал его имени и поэтому буду звать его д-ром Туфлингом.

⁵⁹ Германия по-английски произносится приблизительно как «Джёмэни», а в слове «wonderful», прекрасный, «о» должен звучать, как первый гласный в «порог». Немцы у Набокова любят это английское словцо вследствие его родства с «wunderbar» и часто пользуются им не к месту.

– Разумеется, он сумасшедший! – воскликнул д-р Туфлинг, отвечая на какой-то вопрос, заданный кем-то из дам. – Посудите сами, ведь только умалишенный мог загнать войну в такую трясины. Я, так же, как и вы, безусловно надеюсь, что в недалеком будущем, если только он окажется в живых, его благополучно препроводят в санаторию в какой-нибудь нейтральной стране. Он это заслужил. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы оккупировать Англию. Безумием было думать, что война с Японией не позволит Рузвельту энергично вмешаться в европейские дела. Всего безумней тот, кто не способен понять, что кто-то другой тоже может оказаться сумасшедшим.

– Невозможно отделаться от ощущения, – сказала толстая маленькая дама, которую звали, кажется, мадам Мулбери, – что тысячи наших ребят, которые погибли на Тихом океане, были бы живы, если все эти самолеты и танки, которые мы отдали Англии и России, были бы употреблены для уничтожения Японии.

– Совершенно верно, – сказал д-р Туфлинг. – И в этом была ошибка Адольфа Гитлера. Надо быть безумцем, чтобы не принять в расчет коварных интриг безответственных политиков. Надо быть безумцем, чтобы верить в то, что другие правительства будут действовать в согласии с принципами милосердия и здравого смысла.

– Я всегда думаю о Прометее, – сказала мадам Галль, – о Прометее, который украл огонь и был ослеплен разгневанными богами.

Пожилая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Туфлинга объяснить, почему немцы не восстали против Гитлера.

Д-р Туфлинг на минуту прикрыл веки.

– Мой ответ ужаснет вас, – сказал он с усилием. – Как вам известно, я сам немец, чистопородный баварец, хотя и законопослушный гражданин этой страны. И тем не менее, я сейчас скажу нечто совершенно ужасное о своих бывших соотечественниках. Немцы (его глаза с мягкими ресницами снова полужакрылись) – немцы – мечтатели.

К этому времени я уже, конечно, понимал, что мадам Шарп, приятельница мадам Галль, так же разительно отличается от моей мадам Шарп, как я сам от моего однофамильца. Бредовый кошмар, в который меня занесло, наверное, показался бы ему уютным вечером в компании родственных душ, а д-р Туфлинг – умницей и блестящим козёром. Застенчивость, да быть может, еще недоброе любопытство, не позволяли мне уйти. К тому же, когда я волнуюсь, я начинаю так сильно заикаться, что если бы я попытался сказать д-ру Туфлингу, что я о нем думаю, то вышло бы похоже на залпы мотоциклета, не желающего заводиться морозной ночью в потерявшей терпение загородной улочке. Я огляделся, чтобы убедиться в том, что люди вокруг меня подлинны, а не куклы из фарса «Грушка и Петрушка».

Из женщин ни одна не была хороша собой; всем было под или за сорок пять. Все, без сомнения, были членами каких-нибудь клубов – библиофилов, бриджа, болтовни – и все они принадлежали к огромному, холодному сестричеству неизбежной смерти. Все выглядели радостно бесполоыми. Может быть, у иных и были дети, но как им удалось произвести их на свет, было теперь забытой тайной; многие нашли замену производительной способности в разнообразных эстетических поползновениях, например, в украшении комитетских комнат. Глядя на одну напряженно смотрящую даму с веснушчатой шеей, сидевшую рядом, я уже знал, что, слушая в полуха д-ра Туфлинга, она скорее всего тревожилась о какой-нибудь декоративной детали, имевшей отношение к очередному собранию или патриотическому вечеру, точной природы которого я не мог установить. Зато я знал, как необходимо нужна ей была эта тонкая добавочная подробность. «Что-нибудь этакое в центре стола, – думала она. – Такое что-нибудь, отчего все бы ахнули – скажем, огромное-преогромное блюдо с искусственными фруктами. Только, само собою, не из воска фрукты, а что-нибудь такое дивно мрамористое».

Весьма прискорбно, что я не удержал в памяти имен этих женщин, когда меня с ними познакомили. У двух стройных, взаимозаменяемых старых дев, сидевших на твердых стульях, фамилии начинались на «дубль-вэ», а что до прочих, то одну определенно звали мисс Биссинг. Я ясно это расслышал, но позже не мог соединить этого имени ни с одним лицом или похожим на лицо предметом. Кроме д-ра Туфлинга и меня, имелся еще один мужчина. Он оказался моим соотечественником, каким-то полковником Маликовым, не то Мельниковым – у мадам Галль это вышло похоже на «Милвоки». Пока разносили безалкогольные и бес-

цветные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипучим звуком, как если бы под своей мешковатой синей парой он носил сбрую, и сообщил мне глухим русским шепотом, что когда-то имел честь звать моего почтенного дядюшку, и я немедленно вообразил его себе багровым, но несъедобным яблоком на фамильном древе моего тезки. К д-ру Туфлингу тем временем возвращалось его красноречие, и полковник выпрямился, обнаружив обломанный желтый клык в сходящей на нет улыбке и деликатными жестами давая мне понять, что мы потом вдоволь наговоримся.

– Трагедия Германии, – сказал д-р Туфлинг, аккуратно складывая бумажную салфетку, которой он вытирал тонкие губы, – это также и трагедия цивилизованной Америки. Я выступал во многих женских клубах и других центрах просвещения и везде замечал, как глубоко ненавидят эту европейскую войну (которая теперь, слава Богу, закончилась) утонченные, чувствительные души. Я также обратил внимание на то, с какой радостной готовностью образованные американцы воскрешают в памяти более счастливые времена, заграничные впечатления, незабываемый месяц или еще более незабываемый год, проведенный некогда в стране искусства, музыки, философии и доброй шутки. Им вспоминаются дружеские связи, заведенные там, и время, когда они учились и благоденствовали, обласканные гостеприимством благородного немецкого семейства, и эту исключительную чистоту на всем, и песни на закате погожего дня, и прекрасные городки, и весь этот добрый, романтический мир, который они обретали в Мюнхене или Дрездене.

– Моего Дрездена больше нет, – сказала мадам Мулбери. – Наши бомбы уничтожили и Дрезден, и все, что он собой олицетворял.

– В данном случае, британские, – мягко сказал д-р Туфлинг. – Но, разумеется, война есть война, хотя должен сказать, что с трудом могу себе представить, чтобы германские бомбардировщики намеренно выбирали для обстрела священные исторические места в Пенсильвании или Виргинии. Да, война ужасна. Я бы даже сказал, что она делается почти невыносимо ужасной, когда ее навязывают двум народам, у которых так много общего. Вам это может показаться парадоксом, но разве, когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, не говоришь себе, что они по крайней мере избавлены от ужасных предчувствий, которыми мы, люди невоенные, должны терзаться молча?

– Мне кажется, это очень верно, – заметила мадам Галль, медленно кивая.

– А что вы скажете насчет всех этих сообщений? – спросила пожилая дама, занятая вязаньем, – Я имею в виду рассказы о немецких зверствах, которые все время печатают в газетах. Ведь это все, я думаю, большей частью пропаганда?

Д-р Туфлинг устало улыбнулся.

– Я предвидел этот вопрос, – сказал он не без грустной нотки в голосе. – К сожалению, пропаганда, преувеличения, поддельные фотографии и тому подобное суть орудия современной войны. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что немцы тоже выдумали истории о жестокости американских войск по отношению к мирному гражданскому населению. Какой только чепухи не насочиняли о так называемых зверствах немцев в первую мировую войну – эти чудовищные басни о соблазненных бельгийках и прочая. И что же? Сразу после войны, летом 1920-го, если не ошибаюсь, года, специальная комиссия германских демократов тщательно расследовала все это дело, а мы все знаем, как педантично тщательны и точны бывают немецкие специалисты. И вот, они не нашли даже ничтожных оснований сомневаться в том, что немцы вели себя как солдаты и джентльмены.

Одна из барышень Дубльвэ заметила с иронией, что иностранным корреспондентам ведь нужно же как-то зарабатывать себе на жизнь. Замечание было остроумно. Все оценили ее ироничное и острое замечание.

– С другой стороны, – продолжал д-р Туфлинг, когда зыбь одобрения улеглась, – забудем на минутку о пропаганде и обратимся к скучным фактам. Позвольте мне набросать перед вами небольшую картинку из прошлого, довольно печальную картинку, но, быть может, бесполезную. Прошу вас представить себе немецких ребят, гордо вступающих в какой-нибудь покоренный ими польский или русский город. Они поют на марше. Они не знают, что их фюрер сошел с ума; они искренно верят, что несут завоеванному городу надежду и счастье и прекрасный порядок. Они не могли знать, что из-за будущих бредовых заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет к тому, что враг превратит в польхающее поле

сражения те самые города, которым они, эти немецкие парни, несли, как им казалось, вечный мир. Когда они браво шагали по улицам во всем своем блеске, со своими прекрасными военными орудиями и стягами, они расточали улыбки всем и каждому, ибо они были трогательно простодушны и благожелательны. Они наивно рассчитывали на такое же дружелюбное отношение к себе со стороны населения. Потом они постепенно поняли, что улицы, по которым они так молодцевато, с такой уверенностью маршировали, были запружены по сторонам молчаливыми и неподвижными толпами евреев, глядевшими на них с ненавистью и оскорблявшими каждого проходившего солдата, – не словами (у них хватало ума этого не делать), а вот этим мрачным взглядом и почти неприкрытой насмешкой.

– Я этот взгляд хорошо знаю, – хмуро сказала мадам Галль.

– Да, но они-то его не знали, – жалобным тоном сказал д-р Туфлинг. – Вот в чем дело. Они были озадачены. Они ничего не могли понять, и им было больно. Что же они предприняли? Сначала они пытались бороться с этой ненавистью посредством терпеливых разъяснений и небольших знаков расположения. Но стена окружавшей их ненависти становилась только толще. В конце концов они вынуждены были посадить в тюрьму вожаков этого злобствующего и надменного сообщества. Что же еще оставалось им делать?

– Я случайно знакома с одним старым русским евреем, – сказала мадам Мулбери. – Просто потому, что он сослуживец моего супруга. И вот он как-то раз признался мне, что с радостью задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я была так потрясена, что вот просто остолбенела и не знала как ответить.

– Уж я бы ему ответила, – сказала дородная женщина, которая сидела, широко расставив колени. Да и вообще, чересчур много говорят о возмездии немцам. Они ведь тоже люди. Всякий чуткий человек согласится с вашими словами о том, что они не виноваты в этих так называемых злодеяниях, большая часть которых, наверное, выдумана евреями. Не могу спокойно слышать, как люди продолжают еще разглагольствовать о печах и пыточных камерах, которые, если вообще существовали, обслуживались горсткой таких же сумасшедших, как Гитлер.

– Боюсь, нам следует набраться терпения, – сказал д-р Туфлинг со своей невозможной улыбкой, – и принять во внимание особенности богатого семитского воображения, которое держит в подчинении американскую печать. Кроме того, необходимо помнить, что чисто-плотным германским солдатам приходилось принимать и сугубо санитарные меры в отношении трупов пожилых людей, умерших в лагере, а в некоторых случаях надо было избавляться от жертв тифозных эпидемий. Сам я совершенно свободен от расовых предрассудков и не понимаю, почему эти вековые расовые проблемы должны влиять на отношение к Германии, да еще теперь, когда она капитулировала. Особенно, если вспомнить, как англичане обходятся с туземцами в своих колониях.

– Или как большевики-евреи обходились с русскими – ай-яй-яй! – заметил полковник Мельников.

– Но ведь это все в прошлом, не правда ли? – спросила мадам Галль.

– Конечно, конечно, – сказал полковник. – Великий русский народ пробудился, и мое отечество снова сделалось великим. У нас было три великих вождя. Был Иван, которого враги прозвали Грозным, потом был Петр Великий, а теперь Иосиф Сталин. Сам я белоэмигрант и служил в императорской гвардии, но я еще и русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, которое исходит из России, чувствуется мощь, чувствуется величие старой матушки-Руси. Она снова стала страной солдат, страной веры, страной истинных славян. И мне известно, что когда Красная Армия занимала города Германии, ни один волос не упал с немецких плеч.

– Головы, – сказал мадам Галль.

– Да, – сказал полковник, – ни одной головы не упало с их плеч.

– Мы все восхищаемся вашими соотечественниками, – сказала мадам Мулбери. – Но что если коммунизм распространится и на Германию?

– Если мне будет позволено высказать свое мнение, – сказал д-р Туфлинг, – я желал бы заметить, что если мы не будем бдительны, то никакой Германии вообще не станет. Главная задача, которую Америке придется решать, это не допустить, чтобы победители поработили немецкий народ, и запретить им посылать молодых и здоровых, немощных и стариков, –

интеллигенцию и гражданских лиц – работать как каторжники в бескрайних восточных землях. Это идет вразрез со всеми демократическими и военными принципами. Если вы скажете на это, что немцы именно так и поступали с покоренными народами, я напомню вам три факта: во-первых, Германское государство не было демократическим и, стало быть, от него нельзя было ждать соответствующего поведения; во-вторых, большинство, если не все так называемые «рабы» пришли по доброй воле; в-третьих – и это самое главное – их хорошо кормили, одевали, селили в цивилизованных местах, которые, несмотря на наше естественное восхищение колоссальным количеством населения России и ее географией, немцам трудно будет найти в стране Советов.

– Не следует забывать и того, – продолжал д-р Туфлинг, драматически возвышая голос, – что нацизм был не немецкой, но чуждой организацией, угнетавшей также и немецкий народ. Адольф Гитлер был австриец, Лей – еврей, Розенберг – полуфранцуз, полутатарин. Германский народ томился под этим иноземным ярмом не меньше, чем другие европейские страны страдали от последствий войны, которая велась на их территории. Мирным жителям, которых не только калечили и убивали, но еще и уничтожали бомбами их ценное имущество и прекрасные дома, – им все равно, с немецкого или союзнического самолета были сброшены эти бомбы. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все другие народы Европы стали теперь членами одного трагического братства, но все они уравниваются бедой и упованием, ко всем должно относиться одинаково, и предоставим отыскивать и осуждать виновных будущим историкам, непредвзятым старым ученым в бессмертных центрах европейской культуры, в университетской тиши Гейдельберга, Бонна, Йены, Лейпцига, Мюнхена. Пусть феникс Европы снова расправит свои орлиные крылья, и Господь да благословит Америку.

Воцарилась почтительная пауза, во время которой д-р Туфлинг трепетной рукой зажег папиросу, а затем мадам Галль, прелестным девическим жестом соединив ладони, стала умолять его завершить вечер какой-нибудь приятной музыкальной пьесой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом наступил мне на ногу, виноватым жестом дотронулся кончиками пальцев до моего колена и, сев за рояль, повесил голову и оставался недвижим несколько ощутимо беззвучных мгновений. Потом он медленно и очень бережно положил папиросу в пепельницу, снял пепельницу с рояля и передал ее в готовно подставленные руки мадам Галль и опять склонил голову. Наконец, он сказал несколько прерывающимся голосом:

– Прежде всего, я сыграю «Стяг наш звездно-полосатый»⁶⁰.

Чувствуя, что это было выше моих сил – к этому времени мне уже сделалось и физически дурно – я поднялся и поспешно вышел из комнаты. Я уже подходил к шкапу, куда горничная как будто положила мои вещи, когда меня настигла мадам Галль, а вместе с ней прибор отдаленной музыки.

– Вам непременно нужно идти? – сказала она. – Бы никак не можете остаться?

Я нашел свое пальто, уронил вешалку и с притопом всунул ноги в галоши.

– Вы либо убийцы, либо идиоты, – сказал я, – а может быть, и то и другое, а этот человек – гнусный немецкий агент.

Как я уже докладывал, в критические минуты я подвержен ужасному заиканию, и поэтому моя тирада получилась не такой гладкой, как на бумаге. Но она произвела впечатление. Прежде чем она нашлась, что мне ответить, я, с треском захлопнув за собой дверь, уже нес свое пальто вниз по лестнице, как тащат ребенка из загоревшегося дома. Только на улице я заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, была не моей.

Это была сильно поношенная фетровая шляпа, более темного серого оттенка, и с более узкими полями. Голова, для которой она предназначалась, была меньше моей. Внутри шляпы имелся ярлык с надписью «Братья Вернеры, Чикаго», и оттуда веяло чужой гребенкой и чужим вежеталем. Она не могла принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, а муж мадам Галль, как мне показалось, или умер, или держал свои шляпы в другом месте. Нести этот предмет было омерзительно, но ночь была дождливая и холодная, и я воспользовался им как своего рода рудиментарным зонтиком. Придя домой, я немед-

⁶⁰ «Стяг наш...» — государственный гимн США.

ленно сел писать письмо в Департамент сыскной полиции, но не слишком преуспел. Мое неумение схватывать и удерживать в памяти имена весьма понижало ценность сообщаемой мной информации, и, так как мне надо было еще объяснить собственное свое присутствие на вечере, то пришлось присовокупить массу многословных околичностей и каких-то подозрительных сведений о моем однофамильце. Хуже всего было то, что когда я описал всю эту историю в подробностях, она приобрела какой-то бредовый, нелепо-утрированный характер – а между тем, я в сущности мог всего лишь сказать, что некий господин из неизвестного мне города на Среднем Западе, человек, даже имени которого я не знаю, сочувственно отозвался о германском народе в обществе слабоумных женщин преклонного возраста в одном частном доме. Да и почему знать, может быть, во всем этом не было ничего противозаконного, особенно если судить по выражениям той же самой симпатии, то и дело возникающим в писаниях иных весьма известных журналистов.

На другой день рано утром я открыл дверь, в которую позвонили, и передо мной оказался д-р Туфлинг, с непокрытой головой, в макинтоше, молча протягивающий мне мою шляпу с осторожной полуулыбкой на сине-розовом лице. Я взял шляпу и пробормотал нечто благодарственное. Он принял это за приглашение войти. Я забыл, куда я положил его фетровую шляпу, и лихорадочные поиски, которые я принужден был затеять более или менее в его присутствии, скоро сделались смехотворно нелепыми.

– Послушайте, – сказал я, – я вам пошлю, отправлю, препровожу эту шляпу, когда разыщу ее, а если не найду, то пошлю чек.

– Но я сегодня уезжаю, – сказал он вкрадчиво. – К тому же я бы желал получить небольшое разъяснение по поводу странного замечания, которое вы сделали моему дражайшему другу мадам Галль.

Он терпеливо ждал, пока я пытался сказать ему как можно разборчивей, что ей все разъяснят власти и полиция.

– Вы находитесь в заблуждении, – сказал он, наконец. – Мадам Галль – известная общественная деятельница, у нее множество связей в правительственных сферах. Мы, слава Богу, живем в великой стране, где каждый может говорить, что ему вздумается, не опасаясь оскорбления за высказанное частное мнение.

Я велел ему уходить.

Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал:

– Я ухожу, но запомните, пожалуйста, что в этой стране... – и он с шутливой укоризной погрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем.

Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул. Меня била дрожь. Моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась мне отвратительно низкой. Неожиданно мой взгляд упал на шляпу д-ра Туфлинга, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходящему на улицу, открыл его и, когда д-р Туфлинг показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении. Она описала параболу и блином шлепнулась на середине улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу, и легла, так сказать, вниз головой. Д-р Туфлинг, не глядя, помахал рукой, дескать, вижу, признателен, подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпачкалась, надел ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Я часто спрашиваю себя, отчего это худощавые немцы в макинтоше всегда имеют такой дородный тыл.

Остается рассказать, что неделю спустя я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе:

«Милостивый Государь, – говорилось в нем, – всю жизнь Вы преследуете меня. Мои друзья, прочитав Ваши книги, отворачиваются от меня, думая, будто это я автор этих безнравственных, декадентских сочинений. В 1942-м и в 1943-м немцы арестовали меня во Франции за нечто такое, чего у меня и в мыслях не было. И вот теперь в Америке, не довольствуясь тем, что Вы причинили мне столько неприятностей в других странах, Вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом почтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы бросить Вас в тюрьму и ославить самозванцем, но, полагая,

что Вам это придется не по вкусу, я согласен в виде возмещения за понесенное...»

Требуемая им сумма была весьма и весьма скромной.
Бостон, 1945 г.

Что как-то раз в Алеппо...

Дорогой В., помимо прочего, пишу тебе, чтобы сообщить, что я наконец здесь, в стране, куда столько закатов вело. Один из первых, кого я встретил, был старый наш приятель Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший проспект Колумба в поисках *petit café du coin*⁶¹, где никому из нас троих уж больше не сиживать. Он, кажется, считает, что ты каким-то образом изменяешь отечественной литературе, и дал мне твой адрес неодобрительно покачивая седой головой, как если бы ты не заслуживал удовольствия получить от меня письмо.

У меня для тебя история. Это мне напоминает, т. е. эти мои слова напоминают мне те дни, когда мы писали парные, еще пенившиеся стихи, и все на свете, будь то роза, или лужа, или освещенное окно, кричало нам: «Я рифма! I'm a rhyme!» Да, вселенная эта полна возможностей. Играем, умираем; *ig-rhyme, umi-rhyme*. И звучная душа русских глаголов придает смысл буйной жестикуляции деревьев или какому-нибудь брошенному газетному листу, который скользит, останавливается, и снова шаркает безсильными всплесками, безкрылыми рывками, по бесконечной, обметаемой ветром набережной. Но теперь я не поэт. Я пришел к тебе как та экспансивная чеховская дама, которой до смерти хотелось, чтобы ее описали.

Я женился через месяц, что-ли, после того как ты покинул Францию, и за несколько недель до того, как благодушные немцы с ревом ворвались в Париж. Хоть я могу представить документальные доказательства моего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения: это имя призрака. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое рассказа (точнее, одного из твоих рассказов).

Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая; но как-то вечером я провожал ее домой, и что-то забавное, сказанное ею, заставило меня со смехом нагнуться и легонько поцеловать ее волосы. И кому же не знаком этот ослепительный взрыв, вызванный всего-навсего тем, что с пола подобрал небольшую куклу в доме, который тщательно нашпиговали прежде чем его покинуть: оказавшийся здесь солдат ничего не слышит; для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что всегда было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах оттого, что видимая твердь, особенно ночью (над нашим затемненным Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и безпрестанным альпийским звучанием пустынных писсуаров), кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва.

Но разглядеть ее я не могу. Она остается такой же смутной, как и лучшее мое стихотворение – то самое, которое ты так язвительно высмеял в *Литературных Записках*. Когда хочу изобразить ее, я принужден мысленно держаться за маленькое родимое пятнышко на ее опущенной руке, как, бывает, сосредоточиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Быть может, если бы она употребляла больше грима или употребляла его постоянно, я мог бы сегодня вообразить ее лицо или хотя бы тонкие поперечные бороздки на сухих, горячих, накрашенных губах; но нет, не могу, не могу – хоть я еще иногда ощущаю их уклончивое прикосновение, как бы в жмурки играющее с моими чувствами в одном из тех щемящих снов, в которых она и я неуклюже хватаемся друг за друга в душераздирающем тумане, и я не могу разглядеть цвета ее глаз из-за пустого блеска накипающих слез,

⁶¹ Маленькой кофейни на углу (*фр.*)

застилающих их райки.

Она была гораздо моложе меня – не настолько, насколько Натали с ее прелестными обнаженными плечами и длинными серьгами была моложе смуглолицего Пушкина; но все-таки этой разницы было довольно для такого рода ретроспективной романтики, которая находит удовольствие в подражании судьбе неповторимого гения (вплоть до ревности, вплоть до грязи, вплоть до укола, когда замечаешь, что ее миндалевидные глаза обращены из-за павлиньего веера на ее белокурого Кассио), даже если стихам его подражать не можешь. Мои ей, впрочем, нравились, и она вряд ли стала бы зевать, как это имела обыкновение делать та, другая, когда стихотворение ее мужа длиною превышало сонет. Да, она осталась для меня привидением, но ведь может быть и я был для нее тем же: думаю, что ее привлекала разве что непонятность моих стихов; потом она прорвала дыру в их покрове и увидела в прорехе чужое, нелюбимое лицо.

Как ты знаешь, я уже давно собирался последовать примеру твоего удачного бегства. Она описала мне своего дядю, который, по ее словам, жил в Нью-Йорке: сначала он преподавал верховую езду в каком-то южном учебном заведении, а кончил тем, что женился на богатой американке; у них была маленькая дочь, глухая от рождения. Она сказала, что давно потеряла их адрес, но несколько дней спустя он чудесным образом отыскался, и мы написали ему драматическое письмо, на которое никакого ответа не последовало. Оно и не имело большого значения, потому что у меня уже было солидное поручительство от профессора Ломченки из Чикаго; но к началу оккупации очень мало еще было сделано для получения нужных бумаг, а между тем я предвидел, что если мы останемся в Париже, то какой-нибудь доброжелательный соотечественник рано или поздно укажет заинтересованным лицам некоторые места в одной из моих книг, где я утверждаю, что, несмотря на множество своих черных грехов, Германия навсегда останется посмешищем для всего мира.

Итак, мы пустились в наше злосчастное свадебное путешествие. В давке и толчее апокалиптического исхода; в ожидании поездов вне расписанья, шедших по неизвестному назначению; пешком проходя через затасканные декорации абстрактных городов; живя в вечных сумерках физического изнеможения, – мы бежали, и чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас, было неизмеримо крупнее болвана в солдатских сапогах и ремнях, с его набором железной дребедени, швыряемой разными способами, – нечто, чего он сам был только знаком, нечто чудовищное и неосязаемое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который все еще наваливается на меня сзади даже здесь, на зеленом раздолье Центрального Парка.

О, она-то переносила все это довольно мужественно, с какой-то ошеломленной бодростью. Но однажды, совершенно неожиданно, она разрыдалась посреди переполненного сочувствием железнодорожного вагона. «Собака, говорила она, собака, которую мы оставили. Не могу забыть бедной собаки». Искренность ее горя поразила меня, ибо у нас никогда не было никакой собаки. «Я знаю, сказала она, но я попыталась представить себе, что мы все-таки купили этого сеттера. И только подумай, он бы теперь скулил за запертой дверью». Никогда не было и речи о покупке сеттера.

Не забыть бы еще ту часть пути, где мы видели семью беженцев (две женщины с ребенком), у которых в дороге умер не то старик-отец, не то дед. На небе беспорядочно громоздились облака черного и телесного цвета, с безобразным ореолом, брызнувшим из-за затененного холма, а мертвец лежал на спине под пыльным платаном. Палкой и руками женщины попытались было вырыть у дороги могилу, но земля была слишком твердая; они сдались и теперь сидели рядом, среди худосочных маков, чуть в стороне от тела с торчавшей кверху бородой. А мальчик все царапал и скреб и дергал, покуда не выворотил плоский камушек, и тогда забыл о мрачной цели своего труда, и, сидя на корточках (причем его тонкая выразительная шея выставляла напоказ палачу все свои позвонки), с удивлением и удовольствием глядел на тысячи крошечных коричневых мурашек, кишевших, сновавших туда-сюда, разбегавшихся, направлявшихся в безопасные места в департаменты Гар, и Од, и Дром, и Вар, и в Нижние Пиринеи – мы же остановились только в По.

В Испанию было не пробраться, и мы решили ехать дальше, в Ниццу. В городишке именуемом Фожер (десятиминутная остановка) я с трудом протискался из поезда, чтобы купить провизии. Когда минуты через две я вернулся, поезд ушел, и безтолковый старик,

повинный в той жуткой пустоте, которая открылась передо мной (угольная пыль, блестящая на солнцепеке меж равнодушных голых рельс, да одинокая апельсиновая корка), грубо заявил мне, что ни в каком случае я не имел права выходить из вагона.

В лучшем мире я мог бы устроить так, чтобы мою жену разыскали и сообщили ей, что делать (у меня были оба билета и большая часть денег); на деле же моя бредовая борьба с телефоном ни к чему не привела, так что я, разом оборвав нить карликовых голосов, лаявших на меня издали, послал две или три телеграммы, которые, должно быть, только теперь отправляются в путь, и поздно вечером сел на первый местный поезд в Монпелье, дальше которого ее поезду плестись не полагалось. Не найдя ее там, я должен был выбрать один из двух возможных вариантов: продолжать путь, потому что она могла сесть на марсельский поезд, который только что ушел на моих глазах, или ехать обратно, потому что она могла вернуться в Фожер. Не помню теперь, какой клубок разсуждений привел меня в Марсель и Ниццу.

Если не считать таких элементарных мер как разсылка неверных сведений в несколько малообещающих мест, полиция ничего не сделала, чтобы мне помочь; один полицейский чин наорал на меня за то что надоедаю; другой отклонил запрос, усомнившись в подлинности моего брачного свидетельства из-за того, что штемпель, по его мнению, был поставлен не с той стороны; третий, толстый commissaire с маслянистыми карими глазами, признался мне, что в свободное время пописывает стишки. Я обошел разных знакомых среди множества русских, живших или застрявших в Ницце. Те из них, у кого была еврейская кровь, говорили о своих обреченных родных, битком набитых в поезда адского следования; и в сравнении с этим моя собственная беда приобрела характер какой-то нереальной повседневности, когда я сидел в переполненном кафе, глядя на млечно-голубое море, а позади глухой, как из морской раковины, голос без конца бормотал про избиения и бедствия, про серый рай за океаном, про повадки и прихоти безсердечных консулов.

Через неделю после моего приезда ко мне зашел вялый сыщик и провел меня по кривой и вонючей улице к вымазанному сажей дому с надписью «Отель», почти что стертой грязью и временем; там, по его словам, отыскалась моя жена. Предъявленная мне девушка оказалась, разумеется, совершенно мне незнакомой, но мой участливый Шерлок Хольмс в продолжение некоторого времени пытался заставить нас сознаться в том, что мы женаты, между тем как ее молчаливый и мускулистый сожитель стоял тут же и слушал, скрестив на полосатой груди голые руки.

Когда я, наконец, избавился от них всех и добрался до своего квартала, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей открытия съестной лавки; и там, в самом конце ее, была моя жена, на цыпочках силившаяся разглядеть, что продавали. Если не ошибаюсь, первое, что она мне сказала, было что она надеется, что продают апельсины. Ее рассказ показался мне чуть-чуть туманным, но вполне банальным. Она вернулась в Фожер и пошла прямо в полицейский участок, вместо того, чтобы справиться на вокзале, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, как три полена. На другой день она сообразила, что ей не хватит денег добраться до Ниццы. В конце-концов она заняла у одной из этих поленоподобных женщин. Но она ошиблась поездом и заехала в город, названья которого она не могла вспомнить. Приехала в Ниццу два дня тому назад и в русской церкви нашла каких-то знакомых. Те ей сказали, что я где-то поблизости и разыскиваю ее и, конечно, скоро объявлюсь.

Немного погодя, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула и сжимал ее стройные юные бедра (она расчесывала свои мягкие волосы и с каждым взмахом откидывала голову назад), ее рассеянная улыбка вдруг превратилась в странную губную дрожь, и она положила одну руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, словно я был отражением в пруду, которое она впервые заметила.

– Я солгала, мой милый, сказала она. Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с чудовищем, с которым познакомилась в поезде. Я совсем не хотела этого. Он торгует веталем.

Время, место, род пытки. Ее веер, перчатки, и маска. Я провел эту ночь и множество

других вытягивая из нее все по кусочкам, но всего так и не вытянул. У меня была странная фантазия, что прежде всего я должен выяснить каждую подробность, восстановить каждую минуту, и только тогда решить, могу я это перенести или нет. Но предел нужного знания был недостижим, да и как я мог даже приблизительно представить себе ту черту, за которой я мог бы считать себя удовлетворенным, когда знаменатель каждой дроби узнанного потенциально был, разумеется, столь же безконечен, как и количество интервалов между этими дробями.

В первый раз она была слишком усталой, чтобы противиться, а в следующий не противилась, потому что была уверена, что я ее бросил, и она по-видимому думала, что ее объяснения должны были быть каким-то утешительным призом для меня, а не вздором и пыткой, как оно было на самом деле. И это продолжалось без конца, причем она время от времени не выдерживала, но скоро опять овладевала собой и отвечала на мои непечатные вопросы шепотом, затаив дыхание, или пытаясь с жалостной улыбкой ускользнуть в полубезопасность не относящихся к делу комментариев, а я все давил на обезумевший коренной зуб до тех пор, пока челюсть едва не разрывалась от муки, огненной муки, которая казалась все же лучше унылой, ноющей боли терпеливого смирения.

И заметь, что в перерывах этого дознания мы пытались добыть у неуступчивых властей нужные документы, которые в свою очередь позволили бы подать законным порядком формальное прошение на получение бумаг третьего рода, а те дали бы их обладателю право обратиться еще за другими бумагами, которые могли бы дать или не дать ему возможность узнать как и почему это случилось. Ведь если я даже и мог вообразить эту проклятую, все повторяющуюся сцену, мне никак не удавалось связать ее остроугольные гротескные тени со смутными очертаниями конечностей моей жены, которая тряслась и потрескивала в моих яростных объятиях.

И вот ничего больше не оставалось как терзать друг друга, проводить часы в префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже испытанными на себе соприкосновение с сокровеннейшими внутренностями всевозможных виз, препираться с секретарями, снова заполнять формуляры, в результате чего ее похотливый и изобретательный коммивояжер отвратительно смешался с крысоусыми рычащими чиновниками, с полуистлевшими связками устарелых ведомостей и вонью лиловых чернил, со взятками, подсовываемыми под гангренозные клякспапиры, с жирными мухами, щекочущими потные шеи быстрыми, холодными, как бы войлоком подбитыми лапками, с только что вылупившимися неказистыми, вогнутыми фотографиями шести ваших двойников, с трагическими глазами и терпеливой учтивостью просителей родом из Слуцка, Стародуба, или Бобруйска, с раструбами и дыбами Инквизиции, с ужасной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорта найти не удалось.

Признаюсь, однажды вечером, после особенно гнусного дня, я опустил на каменную скамью, рыдая и проклиная шутовской мир, в котором липкие клешни консулов и комиссаров жонглируют миллионами жизней. Я заметил, что и она плакала, и сказал ей, что все это не имело бы такого значения, какое имеет теперь, если бы она не сделала того, что сделала.

– Можешь думать, что я сошла с ума, сказала она с возбуждением, которое на миг чуть не сделало ее настоящей, только ничего этого не было, ничего, клянусь тебе. Может быть, я одновременно живу несколькими жизнями. Может быть, я хотела испытать тебя. Может быть, эта скамья мне снится, а на самом деле мы живем в Саратове или на какой-нибудь звезде.

Было бы скучно разбирать различные стадии, через которые я прошел покуда не принял, наконец, первую версию ее исчезновения. Я не разговаривал с нею и много времени проводил один. Она, бывало, мелькнет и пропадет, и появится опять с каким-нибудь пустяком, который, как ей казалось, должен был мне понравиться – то с фунтиком вишен, то с тремя драгоценными папиросами и тому подобное – обращая со мной с невозмутимой немногословной приветливостью сестры милосердия, которая ухаживает за трудно-выздоровливающим больным. Я перестал посещать большинство наших общих знакомых, потому что они потеряли всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось, начали обнаруживать легкую враждебность. Я сочинил несколько стихотворений. Я выпивал столько вина, сколько мог достать. Потом был день, когда я прижал ее как-то к своей ною-

щей груди, и мы уехали на неделю в Кабуль, где лежали на круглой розовой гальке узкого пляжа. Как это ни странно, чем счастливее казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал тайную струю острой тоски, но я все уговаривал себя, что это неотъемлемая черта всякого подлинного счастья.

Между тем, что-то там переместилось в изменчивом узоре наших судеб, и, наконец, я вышел из какой-то темной, душной канцелярии с двумя пухлыми *visas de sortie*⁶² в дрожащих руках. В них была надлежащим образом впрыснута сыворотка США, и я кинулся в Марсель, где мне удалось достать билеты на ближайший пароход. Я вернулся и протопал к себе наверх. Увидел розу в стакане на столе – сахарную розовость ее очевидной красоты, пузырьки воздуха, прилепившиеся как паразиты к стеблю. Оба ее платья исчезли, исчез гребень, исчезло клетчатое пальто вместе с лиловой лентой и лиловым же бантом, служившими ей шляпой. К подушке не было приколото записки, не было ничего в комнате, что могло бы навести меня на след, ибо роза была, конечно, всего лишь тем, что французские рифмачи называют *une cheville*⁶³.

Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не могли мне сообщить; к Гельманам, которые отказались разговаривать со мной; к Елагиным, которые не знали, сказать или нет. Наконец, старуха Елагина – а ты знаешь, какой Анна Владимировна может быть в критические минуты – велела подать себе свою палку с резиновым наконечником, тяжело, но энергично поднялась всем своим грузным телом из любимого кресла и повела меня в сад. Там она мне сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать мне, что я негодяй и чудовище.

Ты только представь себе эту сцену: крохотный, гравием посыпанный садик с синим кувшином из Тысячи и Одной Ночи и одиноким кипарисом; разтрескавшаяся терраса, где, бывало, любил подремать с плэдом на коленях ее отец, когда ушел в отставку со своего новгородского губернаторства, чтобы провести остаток вечеров в Ницце: бледнозеленое небо; в сгущающихся сумерках чуть веет ванилью; цикады издают свою металлическую трель на две октавы выше среднего до; и Анна Владимировна, у которой складки кожи на щеках свисают и трясутся, осыпаящая меня оскорблениями по-матерински, но совершенно незаслуженно.

В продолжение последних нескольких недель, дорогой мой В., всякий раз, что она без меня посещала те три или четыре семейства, с которыми мы оба были знакомы, моя призрачная жена наполняла сочувственно отверстые уши всех этих добрых людей необычайным рассказом. Именно: что она безумно влюблена в молодого француза, который мог бы доставить ей замок с башнями и имя с гербом; что она умоляла меня дать ей развод, но что я отказал; что я даже сказал ей, что скорее застрелю и ее и себя, чем поплыву в Нью-Йорк один; что она сказала, что ее отец в сходных обстоятельствах поступил как джентльмен; что я отвечал, что мне дела нет до ее *sous le père*⁶⁴.

Было еще множество нелепых подробностей в таком же духе – но они были замечательно подобраны, и не удивительно, что старуха Елагина заставила меня поклясться, что я не стану преследовать любовников с заряженным пистолетом. Они уехали, сказала она, в шато в Лозере. Я спросил, видела ли она хоть раз этого человека. Нет, но ей была показана его фотография. Я уже собрался уходить, когда Анна Владимировна, которая отошла было и даже дала мне поцеловать свои пять пальцев, вдруг опять вспыхнула, стукнула палкой по гравию и сказала своим сильным грудным голосом: «Но чего я вам никогда не прощу, так это ее собаки, бедного пса, которого вы своими руками повесили перед отъездом из Парижа».

Превратился ли «состоятельный господин» в коммивояжера, или произошла обратная метаморфоза, или может быть он был ни то, ни другое, а просто какой-нибудь неудобосказуемый русский эмигрант, волочившийся за ней еще прежде того, как мы поженились – все

⁶² Выездными визами (*фр.*)

⁶³ «Затычка» (пустое слово в строке, поставленное ради размера) (*фр.*)

⁶⁴ Папаши-рогоносца (*фр.*)

это было несущественно. Она ушла. Стало быть, конец. Надо было быть сумасшедшим, чтобы, как в кошмарном сне, заново приниматься за розыски и ждать.

На четвертое утро долгого и унылого морского путешествия я встретил на палубе церемонного, но симпатичного пожилого доктора, с которым игрывал в шахматы в Париже. Он спросил меня, как моя жена переносит качку. Я отвечал, что еду один; он был явно огорошен и сказал, что видел ее дня за два до отплытия, в Марселе, где она, как ему показалось, довольно безцельно брела по набережной. Она сказала, что я вот-вот приду с багажом и билетами.

Это, я думаю, и есть главный пункт всей истории – хотя если ты напишешь ее, лучше не делай его доктором, потому что это уж очень избитый прием. В ту минуту мне стало ясно, что ее вообще никогда не было. И я тебе еще вот что скажу. Как только я добрался до места, то поспешил удовлетворить какому-то болезненному любопытству и отправился по адресу, который она мне однажды дала: он оказался адресом безымянного пустыря меж двух конторских зданий. Я поискал фамилию ее дядюшки в телефонной книге; ее там не было; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает всех, сказал мне, что и человек этот, и его лошадица-жена существуют на свете, но что они переехали в Сан-Франциско после смерти своей глухой дочери.

Глядя на прошлое отвлеченно, я вижу наш исковерканный роман на дне глубокого, туманом наполненного ущелья меж двух прозаических утесов: жизнь была настоящей прежде, она и впредь будет настоящей, надеюсь. Не завтра, однако. Может быть, послезавтра. Ты, счастливый смертный, со своей чудесной семьей (как Инесса? что близнецы?) и разносторонними трудами (как поживают твои лишайники?), ты вряд ли сможешь разобраться в моей беде в смысле человеческих отношений, но ты можешь кое-что объяснить мне, пропустив все это сквозь призму своего искусства.

Но какая все же жалость. К чорту твое искусство, я ужасно несчастлив. Она все бродит да бродит туда-сюда, там где бурые сети растянуты для просушки на горячих каменных плитах и крапчатый отблеск воды играет на боку зашвартованной рыбацкой лодки. Я совершил, неизвестно где и как, какую-то роковую ошибку. В бурых ячейках невода там и сям поблескивают белесые пластинки обломанной рыбьей чешуи. Если не буду осторожен, все это может кончиться в *Аленно*. Помилосердствуй, В., ведь ты бросишь на эту историю тень непереносимой двусмысленности, если возьмешь это слово в заглавие.

Бостон, 1943 г.

Быль и убыль⁶⁵

1

В первые цветоносные дни выздоровления после тяжелой болезни (с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, девятидесятилетнему организму уже не справиться), мои добрые друзья Норман и Нура Стон уговаривали меня еще повременить с возвращением к научной работе и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде звездословиц или солитэра.

Первое исключено совершенно, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чащобе перетасованных слогов на последней странице вечернего тома новостей (занятие, которому моя младшая правнучка предается с рвением необычайным) по мне гораздо утомительнее манипуляций с животными тканями. О солитэре же можно подумать, особенно если расположен к его духовной разновидности; разве раскладывание собственных воспоминаний не того же разряда игра, где в праздной ретроспективе раздаешь сам себе события и переживания?

Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых не до-

⁶⁵ Буквальный перевод названия (Time and Ebb), «Время и отлив», не передал бы подразумеваемой игры, заключающейся в ожидании привычного «Tide and Ebb», «прилив и отлив» — как если бы кто по-русски сказал «пень и ночь». В рукописи, хранящейся в архиве Эдмунда Вильсона, рассказ называется «Time in Ebb».

вольно воображения, чтобы сочинять романы, и не достаёт памяти, чтобы писать правду. Мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что все по времени близкое неприятно разплывчато, между тем как в конце туннеля видишь и свет, и цвет. Я могу разглядеть подробности каждого месяца в 1944-м и 1945-м году, но когда выбираю наугад 1997-й или 2012-й, времена года безнадежно перемешиваются. Никак не могу вспомнить имени почтенного ученого, разбранившего мою недавнюю статью, – впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году Эмбриологическая секция Рейкьявикского Общества Любителей Природы выбрала меня своим почетным членом, или когда именно Американская Академия наук присудила мне самую свою знаменитую премию. (Помню, однако, какое острое удовольствие доставили мне оба эти отличия.) Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перистых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит (как дважды случалось наблюдать моему коллеге, ныне, увы, покойному профессору Александру Иванченко) роение гесперозой в сыроватой долине Венеры.

Конечно, «безчисленные смутные картинки», завещанные нам тусклыми, плоскими, до странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит; и однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся нынешнему поколению более отдаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они все еще по пояс увязали в напускной стыдливости и предрасудках. Они цеплялись за традиции как лоза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов, причем каждый заключал в себе измельчавшие и бесполезные останки какой-нибудь устаревшей моды (в продолжение утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось всунуть едва ли не три десятка пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязать три узла и проверить содержимое пятнадцати карманов).

Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулой, смысл которой – в ту силу, в какую слова вообще имеют смысл – может быть передан как «милосердный господин», и предваряли теоретически бессмертную подпись невнятицей, выражавшей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пишущего решительно безразлично. Они обладали атавистической склонностью оделять общество качествами и правами, в которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти тою же страстью, с какой их деда увлекались богословствованием. Они были поверхностны, беспечны, и близоруки. Чаше других поколений они не замечали выдающихся людей, оставив нам честь открытия их классиков (тот же Ричард Синатра был при жизни безыменным «лесничим», предававшимся раздумьям под Теллуридской сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого Синатру, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения).

Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо и невежественно пожимать своими широкими плечами. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Они то так, то сяк забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое – и не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью (я в то время был уже взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал навзрыд на дворе университета, окруженный ошеломленной толпой).

Но несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший напасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы раздавить варварскую пошлость Гитлера или Аламилло. И если бы я дал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много яркого, и доброго, и романтического, и прекрасного – и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава. Но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к

личным воспоминаниям, не то мне могут заметить, как говорит г-ну Саскачеванову обаятельнейшая героиня современного романа (что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего), «всяк сверчок знай свой шесток» – и не вторгайся в законные владения разных там «слепней и стрекузнечиков».

2

Я родился в Париже. Мать моя умерла, когда я был еще младенцем, и оттого она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримозного тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учитель музыки и сам сочинял (до сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта); он дал мне университетское образование и умер от какого-то неведомого заболевания крови во время Южно-Американской войны.

Мне шел седьмой год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрее которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ подвергал неопишваемым гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. Две пушечки на корме парохода были нацелены на зловеще распаханый кильватер. С важным видом кувыркалась ватага дельфинов. Бабушка читала мне рассказ о русалке, которая обрела ноги. Любопытный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот собственно и все, что я запомнил из этого плаванья.

По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные «небоскребы», как удивили бы они странствующих во времени; название неточное, потому что их отношения с небом, особенно на неземном склоне оранжерейного дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящны и безмятежны: моим детским глазам, глядевшим на широкий простор парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни мешались с красками заката и с какою-то мечтательной прямотой обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса.

Негритята тихо сидели на искусственных валунах. На стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шофферы приземистых, пестрых, жукообразных таксомоторов (они таксономически соединяются у меня в памяти с теми, тоже пестрыми, автоматами, на музыкальный запор которых вставленная монетка действовала как безотказное слабительное) прикрепляли к спине свои засаленные фотографические портреты; ведь мы жили в эпоху Опознавания и Классификации, понимали личность человека или вещи только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего-бы то ни было безымянного.

В недавней и все еще ходкой пьеске о причудливой Америке Стремительных Сороковых годов, особенным ореолом окружена роль Продавца Сельтерской, но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси (через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене) с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала: обильную пену, образывавшуюся над затонувшим комом мороженых синтетических сливок, и коричневую слякоть «молочно-шоколадного» сиропа, которым поливали его макушку. Латунь и стекло поверхностей, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и поблескиванье пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии «Мировая Война», на котором изображался Дядюшка Сэм⁶⁶ со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире, с гипертрофированной нижней губой (эта выпуклость губ, этот надутый ротик-капкан, были преходящей модой женского обаяния между 1939-м и 1950-м годом), и незабываемая тональность

⁶⁶ «Дядюшка Сэм» — плакатный пожилой господин в цилиндре, имя которого составлено из первых букв названия страны: U. [ncle] S. Am. (=United States of America; это как бы антропоморфный образ Америки).

разнородных автомобильных звуков, доносящихся с улицы – эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие «молочный бар» с миром, где люди терзали металл, и он им за это мстил.

Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали непрерывно – и одни дома были невзрачнее других; но каким бы маленьким ни был город, я знал наверное, что найду в нем место, где латали велосипедные шины, место, где продавалось мороженое, и место, где показывали кинематографические фильмы.

Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнинам; затем его подвергали обработке особым составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на лунно-матовом экране в бархатно-темной зале с движениями губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног, и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немыслимо гладкокожая девушка поднимает в нитку выщипанную бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.

3

Я так стар, что еще помню пассажирские поезда; в младенчестве я боготворил их, в отрочестве же я обратился к улучшенным изданиям скорости. Они и теперь еще, бывает, тяжело проходят через мои сны, со своими утомленными окнами и приглашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого разстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда б его сливовый отлив не поддавался действию угольной пыли и не сделался под-стать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу с тою же неизбежностью с какой грамматическое правило и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо-вяло принимали в себя (передавая пальцам насквозь просвечивающий хлад) тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад.

Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из еще более древних сказок, то и дело нараспев выкликали свои «следущестанции» и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся, до смерти уставших солдат, и кто-нибудь из них, живой и пьяный, без умолку и витиевато болтал и только бледностью выдавал свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был, уродец, глиняный молодец, в разгар периода, бойко именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории – в честь посредственного ученого, в угоду тупицам придумавшего этот период.

Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог прироваться к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться надолго на одном каком-нибудь месте. Я мысленно вижу их все, но один университетский городок представляется мне особенно живо: нет нужды называть его, довольно сказать лишь, что в разстоянии трех палисадников от нас, в густо-зеленом переулке, стоял дом, сделавшийся теперь национальной Меккой. Помню затопленные солнцем садовые кресла под яблоней, и ярко-медного сеттера, и толстого веснушчатого мальчика с книгой на коленях, и очень кстати подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня.

Сомневаюсь, чтобы туристы, посещающие теперь место рождения этого величайшего человека своего времени и глазающие на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого бессмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осязание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо что бы ни случилось и сколько бы библиографических карточек ни заполнили названиями моих печатных трудов библиотекари, я буду известен потомству как человек однажды запустивший яблоком в Баррета.

Тем, кто родился после потрясающих открытий семидесятых годов и, значит, не видал ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров (все еще, кажется, разрешенных в некоторых штатах, несмотря на недавние

статьи д-ра де Саттона на эту тему), нелегко представить себе аэропланы, особенно оттого, что старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить – но как это ни странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не вприснул в них своего гения, чтобы этим убереечь их облик от распада.

Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, которые выходят за пределы занимающей меня отрасли науки, и возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровое сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого от симфонической совокупности прошлого в моем ощущении.

В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в шестидесяти часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера, и мог различать их разновидности не только по оконечности крыла или по выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами после-Линнеевской эры, этими одержимыми разведчиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обдавал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нараставшее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не пресным, как будто дух вещи отлетал как только она обретала законченную форму.

Научное достижение, художественное постижение – пары эти держатся врозь, но уж если они встречаются, ничего нет важнее на свете. И поэтому я удаляюсь на цыпочках, покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе: привлеченный низким гуденьем, дрожащим и набирающим силу над головой, стою как вкопанный, позабыв о присмирившем велосипеде между ногами (одна на педали, другая носком касается покрытой асфальтом земли), глазами, подбородком и ребрами стремясь ввысь, к голому небу, где военный аэроплан идет с неземною скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания, между тем как фронтальный вид сменяется тыльным и крылья и рокот растворяются в дали. Восхитительные чудища, огромные летательные машины, они прошли, исчезли как стая лебедей, с мощным многокрылым свистом пронесшаяся как-то весенней ночью над озером Рыцаря в Мэйне, из неведомого в неведомое: лебеди неизвестного науке вида, никогда не виданные ни прежде, ни после – и потом на небе не осталось ничего кроме одинокой звезды, подобно астериску отсылавшей к ненаходимому примечанию.

Бостон, 1945-й г.

Сцены из жизни сиамских уродцев

Немало лет минуло с тех пор, как д-р Фрике предложил нам с Ллойдом вопрос, на который я теперь и попытаюсь ответить. С мечтательной улыбкою научного удовольствия поглаживая мясистую хрящевую перепонку, соединявшую нас – *omphalopagus diaphragmo-xiphodidymus*, как Панкост назвал один похожий случай, – он спросил, не можем ли мы припомнить, когда именно мы, вместе или порознь, осознали исключительность своего положения и своей участи. Ллойд не помнил ничего, кроме того, что дедушка Ибрагим (Агим, или А-хм – теперь мой слух раздражают эти сгустки мертвых звуков) прикасался, бывало, к тому, до чего теперь дотрагивался доктор, и называл это золотым мостом. Я промолчал.

Детство наше прошло на вершине плодородной горы над Черным морем, на хуторе нашего деда возле Караза. Над его младшей дочерью, розой Востока, жемчужиной седого Ахема (коли так, то старый хрыч должен был лучше ее стеречь), надругался в придорожном

саду наш безымянный папаша, и, произведя нас на свет, она умерла, – должно быть, от ужаса и горя. По одним слухам, он был коробейник из мадьяр; другие отдавали предпочтение немецкому ученому птицелову или одному из участников его экспедиции – не иначе как чучельнику. Смуглолицые, увешанные тяжелыми ожерельями тетки наши, пышные одежды которых пахли розовым маслом и бараном, с каким-то мерзким рвением опекали младенцев-уродов.

Вскоре поразительная весть достигла окрестных сел, и они начали посылать к нам на хутор всяких назойливых чужаков. По праздникам можно было наблюдать, как они лезут по склонам нашей горы, вроде паломников на цветистых картинках. Тут был саженного роста пастух и плешивый человек в очках, и солдаты, и вытянутые тени кипарисов. Тоже и дети всегда приходили, и наши ревностные няньки гнали их прочь; но чуть ли не каждый день какой-нибудь черноглазый бритоголовый мальчишка в синих, с черными заплатами, линялых штанах ухитрялся продраться сквозь кизил, сквозь жимолость, сквозь заросли кривого багряника в мощный булыжником двор со старым насморочным фонтаном, где малыши Ллойд и Флойд (у нас в ту пору были другие имена, сплошь из вороньих придыхательных звуков, но что с того) спокойно сидели, жуя сушеные абрикосы, под крашенной мелом стеной. И тогда «нашь»⁶⁷ вдруг видел перед собой десятеричное I, римская двойка – единицу, ножницы – нож.

Нельзя, конечно, сравнивать действие такого знания, хотя бы оно и приводило в смущение, с эмоциональным потрясением, которое испытала моя мать (какое, кстати, это чистое упоение – нарочно пользоваться притяжательным единственного числа!). Она, должно быть, догадывалась, что производила на свет двойню, но когда узнала (в чем нет сомнения), что близнецы ее сращены – что она тогда почувствовала? Зная окружавшую нас необузданную, невежественную, несдержанную на язык родню, можно с уверенностью предположить, что громогласные домочадцы, сгрудившиеся тут же, у ее развороченной постели, не замедлили сообщить ей, что произошло нечто ужасное, совсем не то, что ожидалось; и уж конечно, ее сестры, сгорая, от страха и сострадания, показали ей ее сдвоенное дитя. Не говорю, что мать не может любить такую двойню и в любви этой забыть темную росу ее нечистого происхождения; но мне кажется, что смесь отвращения, жалости, и материнской любви оказалась выше ее сил. Оба компонента двойни перед ее вытаращенными глазами были здоровыми, пригожими компонентиками, с русой шелковистой опушкой на лилово-розовых черепках и хорошо развитыми резиновыми руками и ногами, которые двигались подобно множеству конечностей какого-то диковинного морского животного. Порознь они были совершенно обыкновенные младенцы, но в сумме из них получался урод. Не странно ли, право, что какая-то телесная перепонка, какая-то складка плоти, немногим больше печени ягненка, может превратить радость, гордость, нежность, обожание, хвалу Господу – в ужас и отчаяние.

В нашем же случае все обстояло гораздо проще. Что до взрослых, то они так сильно отличались от нас во всех отношениях, что всякие сравнения исключались, но вот первый же посетивший нас сверстник весьма удивил меня. Покамест Ллойд мирно глядел на потрясенного отрока лет семи-восьми, уставившегося на нас из-под сгорбленной и тоже глазеющей смоковницы, я, помнится, вполне оценил свое существенное отличие от пришельца. Он, как и я, отбрасывал на землю куцую голубую тень, но вдобавок к этой наспех набросанной, плоской и непоседливой спутнице, которой оба мы были обязаны солнцу и которая исчезала в пасмурную погоду, я обладал еще и другой тенью, осязаемым отражением моей телесной самости, которое всегда было при мне, с левой стороны, между тем как мой гость почему-то потерял свое или отцепил его и оставил дома. Сдвоенные Ллойд и Флойд составляли законченное, естественное целое, но он был недостаточен и оттого неестествен.

Однако для того, чтобы объяснить все это добросовестно, как оно того заслуживает, мне может быть, следует обратиться к воспоминаниям еще более ранним. Ежели только

⁶⁷ «Нашь» — по церковнославянскому названию буквы «Н», состоящей из двух прописных десятеричных *i*, соединенных переключиной, как наши близнецы. В оригинале стоит английская «*aitch*» (латинская «*N*») и «*eye*», т. е. глаз — омонимическое название буквы «*i*» английской азбуки.

взрослые переживания не окрашивают предшествующих, то могу, кажется, поручиться, что помню чувство легкого омерзения. Вследствие нашей фронтальной дубликации мы сначала лежали повернувшись друг к другу, соединенные общей пуповиной, и лицо мое в те первые годы нашего существования постоянно терлось о твердый нос и мокрые губы моего близнеца. Привычка откидывать голову и воротить, сколько это было возможно, лицо была естественным следствием этих неприятных соприкосновений. Чрезвычайная эластичность нашей соединительной перепонки позволяла нам занимать более или менее латеральное положение относительно друг друга, когда же мы научились ходить, мы так и ковыляли везде бок о бок, что, вероятно, выглядело менее натурально, чем оно было на самом деле, и со стороны мы, должно быть, могли сойти за двух пьяных карликов, опирающихся один на другого. Во сне мы еще довольно долго поворачивались так, как лежали в утробе матери, но как только неудобство такого положения будило нас, мы снова резким движением отворачивались друг от друга, с геральдически-двуглавым отвращением, с двойным стоном.

Утверждаю, что в три или четыре года наши тела уже безотчетно не любили своей неуклюжей взаимной зависимости, хотя сознание наше не подвергало сомнению ее естественности. Потом, еще раньше, чем мы внутренне сознали ее недостатки, физическая интуиция обнаружила средства к их преодолению, и впоследствии мы почти не задумывались о них. Все наши движения сделались разумным следствием компромисса между обычным и особенным. Схематический рисунок наших поступков, вызванных тем или иным обоюдным желанием, образовал некий серый, гладко вытканый, обобщенный задний план, на котором отдельный позыв, его или мой, принимал более ясные и отчетливые очертания; но поскольку он следовал, так сказать, направлению основной канвы, то он никогда не шел поперек общего нам обоим плетения ткани или даже вопреки прихоти другого.

Говорю покуда исключительно о нашем детстве, когда природа просто не могла еще допустить, чтобы какой-нибудь раздор между нами свел на нет с таким трудом завоеванную жизнеспособность. Позднее мне случалось пожалеть, что мы не погибли в свое время или не были разделены хирургически перед тем, как выйти из первобытного состояния, при котором неизбывный ритм, подобно отдаленному тамтаму, барабанящему в дебрях нервной системы, единовластно управлял нашими движениями. Когда, например, один из нас хотел нагнуться, чтобы завладеть хорошенькой маргариткой, а другой в это же самое время желал дотянуться до спелой фиги, одолевал тот, чье движение совпадало с пришедшимся на это мгновение метрическим ударением нашего общего, непрерывного ритма, после чего прерванный жест одного из близнецов с очень краткой, как бы хореической дрожью растворялся в усилившейся из-за этого ряби законченного действия второго. Говорю «усилившейся» оттого, что призрак несорванного цветка здесь тоже присутствовал, тоже как бы пульсировал меж охвативших плод пальцев.

Иногда в продолжение недель и даже месяцев этот путеводный ритм оказывался гораздо чаще на стороне Ллойда, чем на моей, а затем наступал мой черед и меня выносило на гребень волны; но не могу припомнить ни единого случая, чтобы победа или неуспех одного из нас вызвали бы у другого раздражение или торжество.

И все же сидела где-то во мне чувствительная клетка, озадаченная тем диковинным обстоятельством, что какая-то сила вдруг отбрасывает меня от предмета моего мимолетного вожделения и волочит к иным, нежеланным вещам, навязанным моей воле, щупальца которой не протягивались к ним сознательно и их не обхватывали. Поэтому, глядя на того или другого случайного ребенка, разглядывавшего нас с Ллойдом, я, помнится, пытался разрешить двойную задачу: во-первых, не обладает ли одинарное телесное состояние преимуществом по сравнению с нашим; и во-вторых, все ли прочие дети имеют только одно тело. Мне теперь кажется, что занимавшие меня вопросы весьма часто носили двойственный характер, словно бы струйка умственной деятельности Ллойда перетекала в мой мозг, так что один из двух сопряженных вопросов мог зародиться у него.

Когда алчный дед Ахем решил показывать нас за деньги прохожим, в толпе всегда оказывался какой-нибудь дотошный прохвост, желавший послушать, как мы разговариваем друг с другом. По обычаю людей недалеких, он требовал от уха подтверждения того, что видел глаз. Родня силою понуждала нас удовлетворять таким желаниям и не могла взять в толк, что тут может быть неприятного. Мы могли бы сослаться на робость; но дело было

просто в том, что мы никогда не разговаривали друг с другом, даже когда были одни, ибо краткие, отрывистые хмыки изредка выражаемого неудовольствия (когда, например, один только что порезал ногу, которую ему забинтовали, а другому хочется поплескаться в речке) едва ли могли сойти за беседу. Основные ощущения передавались без слов, как палые листья, несомые потоком нашей сообщающейся крови. Жиденькие мысли тоже как-то проskalзывали и бродили от одного к другому. Мысли погуще каждый держал про себя, но и тут случались разные чудеса. Вот отчего я подозреваю, что, несмотря на свой более спокойный нрав, Ллойд боролся с теми же самыми новыми впечатлениями бытия, что ставили в тупик и меня. С возрастом он многое запомнил. Я не забыл ничего.

Публике мало было того, что мы разговаривали, – им хотелось, чтобы мы еще и играли друг с другом. Олухи! Им доставляло острое удовольствие заставить нас сразиться в шашки или в музлу. Вероятно, будь мы разнополыми близнецами, они принудили бы нас совершить на их глазах кровосмесительное соитие. Но вследствие того, что играть друг с другом было нам так же непривычно, как и разговаривать, мы испытывали изощренное страдание, когда приходилось неуклюже бросать друг другу мяч в тесноте между моей грудью и его или делать вид, что силой отнимаешь у другого палку. Мы срывали бешеные аплодисменты, когда бегали вокруг двора, положив руки друг другу на плечи. Мы умели скакать и кружиться.

Торговец патентованными снадобьями, плешивый субъект в грязно-белой русской косоротке, знавший немного по-турецки и по-английски, выучил нас несколькими фразами на этих языках, и потом нам было велено демонстрировать наше умение восхищенным зрителям. Их разгоряченные лица до сих пор преследуют меня в ночных кошмарах – они являются мне всякий раз, что режиссеру моих сновидений нужны статисты. Я снова вижу великана-чабана, с бронзовым лицом, в пестрых лохмотьях; солдата из Караза; одноглазого горбуна-портного из армян (урода не меньше нашего); визгливых девок, охающих старух, детей, молодых людей в платье западного покроя – горящие глаза, белые зубы, черные разинутые рты; и, разумеется, деда Ахема, с носом из слоновой кости с прожелтью и серой шерстяной бородой, который распоряжается представлением или пересчитывает засаленные ассигнации, слюнявя большой палец. Лысый знаток языков в вышитой рубашке приударял за одной из моих теток, но с завистью поглядывал на Ахема сквозь очки в стальной оправе.

К девяти годам от роду я отлично понимал, что мы с Ллойдом являли собою образец редчайшего уродства. Сознание это не вызывало у меня ни особенной радости, ни особенного стыда; но как-то раз одна кухарка-кликуша – усатая баба, очень к нам привязавшаяся и нас жалевшая – объявила, с присовокуплением жуткой клятвы, что намерена прямо теперь, не сходя с места, рассечь нас врозь при помощи ножа, вдруг в ее руке сверкнувшего (ее тут же сбили с ног дед и один из наших новоприобретенных дядей); и после этого происшествия я часто предавался праздной мечте, воображая, что мне каким-то образом удалось отделаться от горемыки Ллойда, причем тот тем не менее оставался уродом.

Нож меня не привлекал, да и вообще самый способ разъединения представлялся весьма смутно; но я отчетливо воображал, как оковы вдруг плавилась и исчезали и приходило ощущение легкости и наготы. Мне грезилось, что перелезаю через тын, на колья которого насажены выбеленные черепа домашней скотины, и спускаюсь к морскому берегу. Мне виделось, что я скачу с камня на камень и ныряю в играющее море, и выкарабкиваюсь на берег, и резвлюсь с другими голыми детьми. Мне это снилось и по ночам – будто я убегаю от деда, унося с собою игрушку, или котенка, или маленького краба, прижав его к левому боку. Я встречал бедного Ллойда, который в моих снах шел, припадая на ногу, безнадежно сопряженный с каким-то сиаемским близнецом, тоже волочившим ногу, я же беззаботно плясал вокруг них и хлопал их по их несчастным спинам.

Желал бы я знать, были ли у Ллойда подобные видения. Врачи предполагали, что во сне наши мозги иногда сообщались. Как-то, сизым утром, он подобрал ветку и начертил на пыльной земле корабль о трех мачтах – а перед тем, ночью, мне приснилось, что я рисую этот самый корабль в пыли своего сновидения.

Просторная черная пастушья доха покрывала наши плечи; когда мы присели на корточки, из-под ее опавших складок высывались только наши головы да рука Ллойда. Солнце только встало, и острый мартовский воздух, казалось, состоял из слоистого, полу-

прозрачного льда, сквозь который неясно проступали лилово-розовыми пятнами кривоствольные иудины деревца в шероховатом цвету. Продолговатый, приземистый белый дом позади нас, полный толстых женщин и их вонючих мужей, крепко спал. Мы не обменялись ни словом; мы даже не взглянули друг на друга; и вот Ллойд, отшвырнув веточку, вдруг положил правую руку мне на плечо, что он делал всегда, когда хотел идти быстро. Полы нашей общей накидки волочились по сухой траве, камешки сыпались из-под ног; мы шли к кипарисовой аллее, ведшей к взморью.

То была наша первая вылазка к морю; с высоты своей горы нам видно было, как оно нежно блистает, далеко и беспечно, бесшумно разбиваясь о глянцевиные камни. Мне не нужно здесь особенно напрягать память, чтобы потычливый этот побег приурочить по времени к наметившемуся повороту в нашей судьбе. Недели за две перед тем, на наше двенадцатое рождение, дедушка Ибрагим начал подумывать о том, чтобы отпустить нас на полгода в сопровождении нашего новоиспеченного дядюшки на гастроли по окрестным деревням. Они все никак не могли сойтись в цене. Бранились и даже подрались, причем Ахем вышел победителем.

Дедушки мы боялись, а дядю Новуса ненавидели. Вероятно, какое-то неясное, унылое чувство (мы ничего толком не знали, но смутно подозревали, что этот дядя Новус собирается объегорить дедушку) подсказывало нам, что нужно помешать какому-то балаганщику таскать нас по весям в передвижной тюрьме, как обезьян или орлов; возможно и то, что нами просто двигало сознание последней возможности насладиться ограниченной нашей свободой и совершить именно то самое, что было настрого запрещено: выйти вон за этот вот частокол, открыть вот ту калитку.

Открыть эту шаткую калитку было нетрудно, но нам не удалось возвратить ее в прежнее положение. Грязно-белый ягненок с янтарными глазами и киноварной метиной на твердом, плоском лбу увязался за нами, покуда не потерялся среди дубового чапыжника. Чуть ниже, но все еще высоко над долиной, нам надо было перейти дорогу, шедшую кругом горы и соединявшую наш хутор с большой дорогой, которая тянулась вдоль побережья. Сверху донесся топот копыт и визг колес; мы прямо в дохе пали за куст. Когда грохот затих, мы перешли дорогу и пошли по заросшему бурьяном склону. Серебристое море постепенно скрывалось позади кипарисов и развалин старых каменных стен. Нам стало жарко и тяжело под дохою, но мы терпели и не отказывались от ее покрова, опасаясь, что иначе какому-нибудь прохожему может броситься в глаза наш изъян.

Мы вышли на большую дорогу в нескольких шагах от явственно-шумевшего моря – и там, под кипарисом, нас поджидал знакомый нам тарантас, похожий на телегу на высоких колесах, и дядя Новус уже слезал с козел. Плутоватый, темный, наглый, бессовестный чело-вечишка! Незадолго перед тем он увидел нас с одной из веранд дедушкиного дома и не мог устоять перед соблазном воспользоваться нашим бегством, чудесным образом позволявшим ему умыкнуть нас без шума и крика. Кляня на чем свет стоит пару пугливых лошадемок, он грубо подсадил нас в тарантас, пригнул нам головы и пригрозил избить, ежели посмеем высунуть нос из-под дохи. Рука Ллойда все еще лежала у меня на плече, но тарантас подкинуло и ее сбросило. Колеса катились со скрипом. Мы не тотчас сообразили, что наш возница везет нас отнюдь не домой.

Двадцать лет минуло с того серого весеннего утра, но оно сохранилось в моей памяти гораздо лучше многих последующих событий. Снова и снова рассматриваю я его как череду кадров на отрезке кинематографического целлулоида – как это делают, я видел, знаменитые жонглеры, когда разбирают свой номер. Вот так и я пересматриваю все этапы и обстоятельства и случайные подробности нашего неудавшегося побега – первоначальную дрожь, калитку, ягненка, скользкий склон под нашими неловкими ступнями. Спугнутым нами дроздам мы, должно быть, являли зрелище необычайное – закутанные в черную доху, торчащие из нее двумя бритыми головами на тощих шеях. Когда, наконец, показалось шоссе, головы эти опасно завертелись туда-сюда. Если бы в эту минуту ступил на берег какой-нибудь заморский кондотьер, выйдя в бухте из лодки, он несомненно испытал бы упоительный восторг древних, оказавшись лицом к лицу с баснословным добрым чудищем, на фоне кипарисов и белых валунов. Он смотрел бы на это существо с обожанием, он пролил бы сладкие слезы. Но, увы, никто не вышел к нам навстречу, кроме этого суетящегося мо-

шенника, нашего нервного похитителя, маленького человека с кукольным лицом и дешевыми очками, одно стеклышко которых было подклеено куском пластыря.

Итака, 1952 г.

Mademoiselle O

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, – и только три, но какие! – морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми – цвета ее же стальных часиков – глазами за стеклами пенснэ в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы, и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижнюю челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышную массу камышовому сиденью, которое со страху раздражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и все было ново и весело – и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы и пьяницы, – а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, – но в общем отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в десяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя, и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны, и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова – того же, ничем не обросшего, неразменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?», заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь, и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается зámеть. Куда идти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. «Et je me tenais la abandonnée de tous, pareille a la Comtesse Karénine»⁶⁸, красноречиво, если и не совсем

⁶⁸ «И вот я стояла, всеми брошенная, совсем как графиня Каренина» (*фр.*)

точно, жаловалась она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, выщербленный оспой, человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудака, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в утлые сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, воронье Зойка и Зинка, и вот Mademoiselle подалась всем корпусом назад – это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас фонаря, чудовищно преувеличенная тень – с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя – несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний, фонарь, и все исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганьем «степью». И действительно, чем не *la jeune Sibérienne*?⁶⁹ В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит – с 1840 г., что ли, – на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ – хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» – ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она – легко и скоро скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит лазурь на голубые колеи дороги, где каждый сверкающий ком снегу подчеркнут вспухнувшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их – лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой – за спасительный океан! Однако двойник медлит. Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий наощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вplyвает керосиновая лампа на белом лепном пьедестале. Она приближается – и вот, опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве запроваленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображеньицами маркизовых зимних игр. Дверь открыта в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз меблировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкафчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате Mademoiselle. Старая Робинсон, которой я не терплю (но *всё* лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снегу, и вообще много чего ждет заместительницу.

⁶⁹ Юная сибирячка (*фр.*)

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу – или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину – пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, вода им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как все размазалось, как все поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козетки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его все еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так устлан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому, и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный, пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной, семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия Mademoiselle. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, – она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь Mademoiselle утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой – у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант, и потом ввали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где повидимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти), я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе Mademoiselle и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком, да еще быть лишенными всех привычных забав – с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу – какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. *La bonne promenade*⁷⁰, которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботики в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкапами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили – радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротопанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождествено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был попрежнему

⁷⁰ Славная прогулка (*фр.*)

весел. Брат в совершенном молчании все сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. Mademoiselle стояла на крыльце и выкрикала свое безумное «ги-ди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого между прочим звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

4

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке – это было отвратительное иностранное ощущение – она же именно с этого и начала – в знак мгновенного расположения что ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе – вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще – обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибалась страница, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую ставку она для меня всовывала новое перо и с сырым присвистом слюнила его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто-серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв – особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась всякими перечеркиваниями и безобразием – я надписывал «Dictée»⁷¹, покамест Mademoiselle выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменялась. Инеистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в белорозово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи – все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого, Mademoiselle читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда Mademoiselle проявляет свою сокровенную суть.

Какое невероятное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтецкая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький – но настоящий – из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенснэ окружало черными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала

⁷¹ «Диктовка» (фр.)

мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками будто служившая мне моделью.

Мое вниманье отвлекалось – и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако – и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и растегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробежала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на верхнюю ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять – и была такова. Постоянным же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник – и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконеч, в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «Ah, comme on s'aimait!»⁷², вздыхала она вспоминая, «Как мы веселились вместе! А как бывало ты поверял мне шопотом свои детские горести» (Никогда!) «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната Mademoiselle, и в Выре, и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из-под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки – одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимися монпансье – другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок – швейцарское озеро и замок с крупницами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий – покойного племянника, его матери (расписавшейся «Mater Dolorosa»), таинственного усача, Monsieur de Marante, которого семья заставила жениться на богатой вдове; главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными камнями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят и вот такой толщины», говорила с пафосом Mademoiselle – ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную Mademoiselle, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас приснится дурной сон, и разбуженная звериным воплем, она появлялась из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собою свечу, миганьем своим обращавшую в чешую золотые блески на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «Athalie», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

⁷² «Ах, как мы любили друг друга» (фр.)

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотировались» или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве предстоявший сон казался мне палачом в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы, и куда Mademoiselle из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда Mademoiselle, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны – чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хрупкой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посапыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте все еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предметик, деливший у себя на полке мое бдение. Вот – вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой *Revue des Deux Mondes*⁷³. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И все время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю, что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай – это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенснэ; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; Mademoiselle бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве, свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем не прерван, кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, – что бред, сумасшествие, смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно принаравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлама, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспмятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно, светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Непонятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. On se

⁷³ Французский толстый журнал.

promenait en voiture – или en équipage⁷⁴, как говорилось по-старинке в русских семьях. Черносливового цвета плюш величественно холмится на груди у Mademoiselle, расположившейся на заднем сиденьи открытого ландо с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом – мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой – настолько, что у нас не было даже имен друг для друга – Володя, Сережа, – и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув. Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ – бледно-красная, бледно-голубая и просто линиялая – усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распушенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у Mademoiselle.

7

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились все реже, а характер ее все хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебивавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят, был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена – Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья – Витгенштейны, из Митюшина – Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры; Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой, как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и все это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца – зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синеных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флобера.

Особенно зорко следила Mademoiselle за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, – она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено на-бок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная, казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем Mademoiselle. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно разминались – Надежда Ильинична с лопухом, пришипленным ради свежести к волосам, а Mademoiselle под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны на сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «Je suis une sylphide à côté de ce monstre»⁷⁵, презрительно говаривала Mademoiselle. Когда же той удавалось пересечь ее за праздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и

⁷⁴ Ездили кататься в коляске — или в экипаже (фр.)

⁷⁵ «Я сильфида по сравнению с этим чудовищем» (фр.)

если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées»⁷⁶.

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайтесь внимания», говорила она и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы – не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, Monsieur Nabokoff?» бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я – вы не поверите, но это факт – слышала тишину». Невольным следствием таких реплик – особенно когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала на мнимый вопрос – была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой *causerie*⁷⁷. Между тем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбuditельно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, все надеясь, что чудом превратится в некую *grande précieuse*⁷⁸, царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующей поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головой и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них *Mademoiselle* не любила, но про Ленского говорила, что это *le comble*⁷⁹ – дальше идти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный по его мнению в доме у демократа. *Mademoiselle*, которой за все время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски, решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех – ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, *Mademoiselle* просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшей *Mademoiselle* за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, *Mademoiselle* ныряла через та-

⁷⁶ «Простите, я улыбалась своим грустным мыслям» (фр.)

⁷⁷ Беседы (фр.)

⁷⁸ Хозяйку светского салона (фр.)

⁷⁹ Переходит все границы (фр.)

релку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «Merci, Monsieur!» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» всхлипывая жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, – которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который всползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила она из-за стола, – и какой-нибудь пломбир или профитроль, о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы все удалявшейся комнаты своей, она писала матери письма на шестнадцать страниц, и мать спешила наверх и заставляла ее трагически укладывающей чемодан в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском Университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 г., что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт – и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей должно быть было лет семьдесят – возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать «l'age est mon seul trésor»⁸⁰. Изображение Шильонского замка заменила аляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкапулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее потерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; оне жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, Mlle Golay, которая тоже вернулась в Швейцарию, при чем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и между нами говоря довольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали, и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой Mademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно нехватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что впрочем не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посылно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шопот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине: тогда она себя обманывала, теперь меня.

⁸⁰ «Годы — мое единственное сокровище» (фр.)

Прежде, чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте, особенно унылый фонарь разбавлял мглу и, проходя через его тусклую ауру, туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «Il pleut toujours en Suisse»⁸¹, – утверждение, которое некогда доводило Mademoiselle до слез. «Mais non», говорила она, «il fait si beau, si beau»⁸², – и от обиды не могла определить точнее это «beau». За парашютом шла по воде крупная рябь, почти волна – когда-то поблизости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжело плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода, лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела о борт, колыханье и чмокание шлюпки, клеенчатый блеск черной воды под лучом фонаря, все это показалось мне насыщенным странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

Ланс

1

Имя этой планеты, даже если она уже названа, не имеет значения. Во время наиболее благоприятного противостояния, она, очень возможно, удалена от Земли на столько же верст, сколько лет прошло от зарождения Гималаев до прошлой пятницы – в миллион раз больше среднего возраста моего читателя. В телескопическом поле зрения человеческой фантазии, сквозь призму слез, ее черты поражают воображение не больше, чем характерные особенности существующих планет. Этот розоватый шар, с мрамористыми прожилками сумеречных пятен, всего лишь один из бесчисленных предметов, прилежно вращающихся в безпредельном и бессмысленном ужасе текучего пространства.

Допустим, что *magia* моей планеты (которые на самом деле и не моря вовсе) и ее *lacus* (не озера) тоже названы – одни, возможно, менее банально, чем садовые розы, другие более нелепо, чем фамилии тех, кто их впервые наблюдал (ведь, если обратиться к конкретным примерам, астроному прозываться Лампландом так же чудно как энтомологу – Краутвурмом⁸³); но большинство носит имена до того антикварные, что они могут соперничать в благозвучии и слегка развратном очаровании с топографией рыцарских романов.

Как наш Зеленодольск какой-нибудь нередко может похвалиться разве что сапожной мануфактурой по одну сторону железной дороги, да ржавым адом автомобильной свалки по другую, так и все эти соблазнительные Аркадии, Икарии, и Зефирии в планетарных атласах вполне могут оказаться безжизненной пустошью, где нет даже молочая, украшающего наши свалки. Это могут подтвердить и селенографы, объективы которых, однако, служат им лучше наших. В настоящем случае, чем сильнее увеличение, тем более зыбуче-крапчатой кажется поверхность планеты; такой увидел бы ее ныряльщик, глядящий сквозь полупрозрачную воду. А если иные соединенные межевые линии смутно напоминают разметку доски для китайских шашек, с ее лунками и бороздками, то будем считать их геометрическими галлюцинациями.

⁸¹ «В Швейцарии всегда идет дождь» (фр.)

⁸² «Да нет же, погода там такая хорошая» (фр.)

⁸³ Краутвурм (по-немецки) — гусеница т. наз. капустницы.

Мало того, что я отказываю любой известной планете в какой-бы то ни было роли в моем рассказе – роли, отведенной в моем рассказе (который видится мне как некая небесная карта) каждой точке и тире – но я намерен держаться подальше от технологических пророчеств, в которые, если верить журналам, ученые посвящают журналистов. Вся эта ракетная пиротехника, рокот и грохот, не для меня. Не для меня маленькие рукотворные луны, обещанные Земле; звездодромы для звездолетов (или «астропланов») – одна, две, три, четыре, потом тысячи крепостей в воздухе, каждый со своей походной кухней и запасом провианта, построенные народами Земли в суматошной горячке конкуренции, самодельной гравитации и неистово плещущих флагов.

Мне, кроме того, совершенно незачем обременять себя специальным оснащением – герметическими костюмами, кислородными аппаратами и тому подобными принадлежностями. Я, равно как и старый Бок (который должен появиться с минуты на минуту), имею полное право пренебречь этими практическими вещами (все равно они неизбежно покажутся чудовищно непрактичными будущим звездолетчикам, например, единственному сыну старика Бока), потому что всякие сложные снаряды вызывают у меня либо недоверчивую скуку, либо нездоровое беспокойство. Лишь героическим усилием могу я принудить себя вывинтить лампочку, неизвестно отчего умершую и ввинтить другую, вспыхивающую тебе прямо в лицо с жутковатой внезапностью яйца в голой руке, из которого вылупился дракон.

Наконец, я решительно отвергаю и отрицаю так называемый «научно-фантастический» жанр. Я просматривал эту литературу и нашел, что она скучна ничуть не меньше журналов, печатающих «увлекательно-гаинственную» литературу – тот же ужасный, беспомощный стиль, бездна диалогов, и огромный запас подержанного юмора. Трафаретные приемы, разумеется, замаскированы, но на самом деле они одни и те же в любом дешевом чтении, все равно идет ли речь о вселенной или о гостинице. Они напоминают бисквиты «ассорти», отличающиеся один от другого только формой и цветом, – чем ловкачи-кондитеры и увлекают истекающего слюной покупателя в сумасшедший Павловский мир, где они за те же деньги прибегают к неприхотливому разнообразию зрительных впечатлений, чтобы воздействовать на вкус и постепенно вытеснить его, а с ним и дарование, и правду.

И вот положительный герой улыбается, злодей ухмыляется, а благородная душа щеголяет площадным жаргоном. Властелины констелляций, Начальники галактических союзов в сущности неотличимы от бойких рыжих управляющих вполне земных контор на Земле, которые своими морщинками иллюстрируют повести «общечеловеческого значения» в засаленных ярких журнальчиках того рода, что всегда разложены в дамских парикмахерских. Фамилии покорителей Денеболы и Спицы, самых красивых планет созвездия Девы, начинаются на «Мак», а фамилии невозмутимых ученых обыкновенно оканчиваются на «штейн»; иные из них, равно как и сверх-галактические гала-девы, носят абстрактные наименования Биола или Вала. Жители чужих планет, «разумные» существа, человекоподобные или изготовленные по разным баснословным образцам, имеют одно замечательное общее свойство: их внутреннее устройство остается неопианным. Мало того, что, уступая соображениям двуногой благопристойности, кентавры носят чресельные повязки – они еще и опоясывают ими передние ноги.

Этим как будто изчерпывается процедура исключения лишнего – разве что кому-нибудь захочется побеседовать на тему времени. Но и тут для того, чтобы поймать в фокус молодого Эмери Л. Бока, моего более или менее отдаленного потомка, который готовится стать членом первой междупланетной экспедиции (что все-таки является одной из скромных посылок моей повести), я с радостью уступаю право подмены честной единицы нашего «1900» манерной двойкой или тройкой умелым лапищам «Старзана» и прочих комиксов и космиксов. Мне безразлично, будет это 2145-й г. А. Д. или 200-й А. А. Я не хочу задевать ничьих законных интересов. Тут пойдет заведомо любительское представление, с довольно случайным реквизитом и скупыми декорациями, и с иглистыми останками издохшего дикобраза в углу старого амбара. Мы здесь среди своих, Браунов и Бенсонов, Байтов и Вильсонов, и когда выйдешь на волю покурить, то слышишь сверчков и собаку с дальнего хутора (которая в промежутках лая прислушивается к тому, чего нам слышать не дано). Летнее ночное небо сплошь забрызгано звездами. Эмери Ланселот Бок, которому двадцать один год, знает о них неизмеримо больше, чем я, которому пятьдесят лет и очень страшно.

2

Ланс высок и худощав, у него толстые сухожилия и зеленоватые вены на загорелых руках и шрам на лбу. Когда он ничем не занят – когда он неловко сидит, как вот теперь, подавшись вперед с края низкого кресла, ссутулившись, облокотясь на крупные колени – он по своему обыкновению медленно сцепляет и расцепляет красивые руки: я заимствую для него этот жест у одного из его пращуров. Ему вообще свойственно выражение серьезности и тревожной сосредоточенности (всякая мысль тревожна, молодая же особенно); в данную минуту, однако, это своего рода маска, скрывающая его сильнейшее желание покончить с затянувшимся напряжением. Вообще, говоря, он улыбается не часто, к тому же «улыбка» слишком уж гладкое слово для той внезапной, яркой гримаски, что теперь вдруг осветила его рот и глаза, между тем как плечи его еще больше сторбились, подвижные руки замерли в сцепленном положении, а носок ноги слегка притопывает об-пол. В комнате его родители, да еще случайный гость, докучный дурак, которому неведомо, что тут происходит – а между тем в унылом доме неуютно накануне небывалого отбытия.

Проходит час. Гость наконец-то подбирает с ковра свой цилиндр и уходит. Ланс остается наедине с родителями, что только усиливает натянутость положения. Старшего Бока я вижу довольно ясно. Но как бы глубоко ни погружался я в свой нелегкий транс, мне не удастся отчетливо рассмотреть госпожу Бок. Знаю, что она пытается быть оживленной – болтая о пустяках, часто моргая ресницами – не столько ради сына, сколько ради мужа и его стареющего сердца, и старик Бок прекрасно это понимает, и вдобавок к собственной чудовищной тоске должен еще сносить ее наигранную веселость, которая мучает его больше явного, безудержного приступа горя. Мне немного досадно, что не могу разглядеть ее лица. Вижу только, как бы краешком зрения, световой размыв сбоку на ее скрытых дымкой волосах, да и то подозреваю, что на меня тут подспудно влияют шаблонные уловки современной фотографии, и чувствую, насколько, должно быть, легче было писать в старину, когда воображение не было обложено многочисленными зрительными подспорьями, и колонист, глядячи на первый свой исполинский кактус или первые высокие снега, не должен был вспоминать рекламную картинку шинной фирмы.

Что касается до Бока, то я вижу, что пользуюсь наружностью старого профессора истории, блестящего знатока средневековья, белые бачки, розовая плешь, и черная пара которого хорошо известны в одном солнечном университетском городке на крайнем юге, но для моего рассказа он только тем интересен, что, не считая легкого сходства с моим давно покойным двоюродным дядей, он обладает несовременной наружностью. Да и, признаться, ничего нет необычайного в стремлении придавать повадкам и одеждам отдаленного времени (которое в нашем случае отнесено в будущее) налет старины, что-нибудь недоглаженное, недочищенное, пыльное, – ведь в конце концов мы только и можем вообразить и выразить все то диковинное, чего никакие ученые исследования предвидеть не в силах, в таких словах как «несовременное», «другого века» и тому подобных. Будущее значит устаревшее, только с обратным знаком.

В этой невзрачной комнате, в сангиновом свете лампы, Ланс говорит о том, что еще оставалось договорить. Он недавно привез из одного необитаемого места в Андах, где лазал на одну еще неназванную кручу, молодую чету шиншилл – пепельно-серых, невероятно пушистых грызунов величиной с зайца (*Hustricomorpha*), с длинными усиками, округлыми задками и ушами, похожими на лепестки. Он держит их в доме, в проволочном загоне, и кормит их арахисом, размоченным рисом, изюмом, и, в виде особого лакомства, дает им цветок фиалки или астры. Он надеется, что осенью они начнут плодиться. Теперь он повторяет матери несколько важных указаний – следить, чтобы еда зверьков была всегда свежей, а конурка – сухой, и никогда не забывать об их ежедневной пыльной бане (самый мелкий песок смешанный с меловым прахом), в которой они самозабвенно катаются и сучат лапками. Пока это обсуждается, Бок все разжигает да разжигает свою трубку и наконец откладывает ее в сторону. Старик то и дело с напускной добродушной рассеянностью принимает издавать звуки и делать жесты, которые никого не могут провести: он откашливается и,

сложив руки за спиной, направляется к окну, а то пускается нестройно мычать, плотно сжав губы, и словно бы влекомый этим носовым моторчиком, покидает гостиную. Но едва уйдя со сцены, он с ужасным содроганием отбрасывает всю хитроумную систему своей благодушно-гудящей роли. В спальне или в ванной он задерживается как-будто затем, чтобы в отвратительном одиночестве судорожно хлебнуть из потайной фляжки, и вскоре бредет обратно, пьяный от горя.

Он неслышно возвращается на сцену (которая не переменялась), застегивая сюртук и сызнова принимаясь мычать себе под нос. Теперь уж остались минуты. Перед уходом Ланс проверяет загончик, где Шин и Шилла сидят на корточках и держат каждый по цветку. Единственное, что мне еще известно об этих последних минутах, это что обошлось без таких напутствий как «Ты уверен, что не забыл выстиранную шелковую рубашку?» или «Ты помнишь куда ты положил новые ночные туфли?». Все вещи Ланса уже собраны в таинственном, неопишемом и вполне чудовищном месте его вылета в «ноль-часов»; ничего из нашего ему не нужно; и он выходит из дому с пустыми руками и непокрытой головой, беззаботно и налегке, как человек, вышедший прогуляться до газетного киоска – или до эшафота славы.

3

Земному пространству нравится таиться. В лучшем случае оно открывает взгляду панораму. Горизонт закрывается за удаляющимся странником как потайная дверь в нарочно замедленном фильмовом темпе. Для тех, кто остался, невидим даже город, до которого можно добраться за день, и однако легко различаешь такие запредельности как, скажем, лунный амфитеатр и тень, отбрасываемую окружим его хребта. Фокусник, демонстрирующий небесную твердь, засучил рукава и работает прямо на глазах у маленьких зрителей. Планеты могут скрываться из виду (совсем как предметы, сведенные на нет неясным очерком собственного маслака); но они опять появляются, когда Земля поворачивает голову. Нагота ночи ужасает. Ланса нет; хрупкость его молодых рук и ног растет в прямой пропорции к расстоянию, которое он одолевает. Старики Боки глядят со своего балкона в бесконечно-опасное ночное небо и безумно завидуют участи жен рыбаков.

Если источники Боков не врут, имя «Ланселоз дель Лак» впервые упоминается в стихе 3676-ом рыцарского романа двенадцатого века «Шарреттский Всадник»⁸⁴. Ланс, Ланселин, Ланселотик – уменьшительные прозвища, шепотом возсылаемые к налитым до краев, соленым, влажным звездам. Юные рыцари, которых в отрочестве учат игре на арфе, соколиной охоте, псовой охоте; Лес Злоключений и Терем Печали; Альдебаран, Бетельгейз – гром боевых кличей сарацин. Изумительные ратоборства, изумительные воинства, поблескивающие внутри ледящих созвездий над балконом Боков: Сэр Перкард-Черный Рыцарь, и Сэр Перимон-Красный Рыцарь, и Сэр Пертольпи-Зеленый Рыцарь, и Сэр Персант-Кубовый Рыцарь, и грубоватый, но добрый старик Сэр Груммор Груммурсум, бормочущий себе под нос северные ругательства. В бинокле мало проку, карта измялась и отсырела, и «фонарь не так надо держать» (это говорится жене).

Вздохнуть поглубже. Снова посмотреть.

Ланселота нет; столько же вероятия увидеть его на этом свете, сколько на том. Ланселот изгнан из страны L'Eau Grise (как можно величать Великие Озера) и теперь скачет вверх по пыльному ночному небосклону почти с тою же скоростью, с какой наша здешняя вселенная (вместе с балконом и черным до ряби в глазах садом) несется к Арфе Короля Артура, где горит и манит Вега – одно из немногих небесных тел, которые можно определить при помощи этого проклятого чертежника. У Боков от звездной туманной мари кружится голова – седоватый ладан, безумье, дурнота безконечности. Но они не в силах оторваться от бредового пространства, не в силах вернуться в освещенную спальню, угол которой виден в стекляннй двери. И вот, как крошечный костер, показывается та самая планета.

⁸⁴ «Шарреттский Всадник» — Roman de la Charrete. В дальнейших описаниях звездной альпинистики то и дело встречаются образы и герои Артуровых романов.

Вон там, справа, Мост Меча, ведущий в *Мирь иной* («dont nus estranges ne retorne») ⁸⁵. Ланселот мучительно ползет по нему в неизъяснимой тоске. «Да не перевалишь через перевал, именуемый Пропашим». Но другой чародей повелевает: «Перевалишь. И даже обретешь чувство юмора, которое подымет и перенесет тебя над самыми трудными местами». Храбрым старикам Бокам кажется, что они видят Ланса, карабкающегося по железным крючьям, вбитым в муравленную скальную твердь небес, или беззвучно прокладывающего путь в мягких снегах туманностей. Вот, где-то между десятым и одиннадцатым привалами, Волопас, огромный глетчер, весь в штыбах и ледяных валунах. Пытаемся разглядеть извилистый маршрут восхождения; как будто различаем легкую сухощавую фигурку Ланса между несколькими силуэтами в общей связке. Скрылись! Он это был или Денис (молодой биолог, лучший друг Ланса)? Дожидаясь в темной долине у подножья вертикального небосвода, мы припоминаем (у мадам Бок это получается лучше, чем у ее мужа) специальные названия разседин и готических ледовых образований, которые Ланс в своем альпийском детстве, бывало, произносил с таким профессиональным щегольством (он теперь старше на несколько световых лет): сераки и шрунды, лавина и ее глухой грохот, французское эхо и германская магия, стуча подкованными башмаками, шагают здесь, якшаются как яки, запряженные в пару, ⁸⁶ – на крутизне, бок о бок, как в средневековых романах.

Да вот он опять! Вот он переходит разщелину меж двух звезд; потом очень медленно пытается пройти по поверхности стремнины до того отвесной, что там совершенно не за что ухватиться и даже когда мысленно видишь эти нашаривающие выступ кончики пальцев и царапающие скалу башмаки, накатывает акрофобическая тошнота. И сквозь слезы старые Боки видят Ланса то безвыходно застрявшего на каменном карнизе, то снова ползущего вверх, то стоящего, в устрашающей безопасности, на вершине, которая выше остальных, с ледорубом и заплечным мешком, и его нетерпеливый профиль обведен каемкой света.

Но может быть он уже спускается? Предположим, что от исследователей не поступает известий и что Боки продолжают свои патетические ночные бдения. Пока они ждут возвращения сына, им кажется, что какой бы тропой он ни спускался, она сорвется в бездну их отчаяния. А может быть он уже перемахнул через вон те крутые мокрые утесы, низвергающиеся отвесно в пропасть, уже преодолел выступ и теперь благополучно скользит вниз по пологим небесным снегам?

Но так как колокольчик у дверей Боков не звонит в логической кульминации представленной мысленно череды шагов (как бы терпеливо ни пытались мы замедлить их поступь по мере их воображаемого приближения), то нам придется вернуть его обратно и заставить заново начать восхождение, а потом отодвинуть еще дальше назад, так что он оказывается все еще в сборном пункте (брезентовые домишки, нужники под открытым небом, попрошайки-дети с черными пятками), а мы-то уже вообразили было, как он нагнулся, проходя под тюльпанным деревом по лужку к дверям и к колокольчику. Как бы утомившись от многообразных своих воплощений в воображении родителей, Ланс теперь уныло тащится по слякоти, потом наизволок, по неприятной местности, где некогда шла война, оступаясь и цепляясь за мертвый бурьян косогора. Предстоит кое-какая заурядная альпинистика, а затем – вершина. Хребет покорен. Мы понесли тяжелые потери. Как извещают в таких случаях? Телеграммой? Заказным письмом? И кто окажется палачом – нарочный, или же будничнейший, плетущийся, лиловоносый почтальон, всегда немного пьяненький (у него свои невзгоды). Распишитесь вот здесь. Как велик его большой палец. Маленький крест. Карандаш не пишет. У карандаша тускло-фиолетовая древесина. Надо возвратить карандаш. Неразборчивая подпись нависшего несчастья.

Но ничего такого не приходит. Проходит месяц. Шин и Шилла чувствуют себя прекрасно и как будто очень привязаны друг к дружке – спят вместе в своей конурке, свернувшись в один пушистый шар. После многих экспериментов Ланс открыл звук, который

⁸⁵ «Из него же нет возврата» (см. фр.)

⁸⁶ «стуча... и т. д.» — один из тех случаев, когда для бледной передачи одного каламбура требуется полдюжины слов. «Нобнобнаил» оригинала — это сплав двух слов: «нобноб» (водить компанию с кем, знаясь) и «hobnail» (шпы на башмаках альпиниста).

шиншиллам особенно нравится: нужно выпучить губы и быстро-быстро издать несколько тихих, влажных «сурптсов», как бы потягивая из соломинки, когда питья в стакане почти не осталось и осушаешь подонки. Но у его родителей этот звук не выходит – не та высота, что ли. И такая нестерпимая тишь стоит в комнате Ланса, и растрепанные книги, и белые, запачканные полки, и старые башмаки, и сравнительно новая ракета для тенниса в своей бессмысленно надежной раме, и грош на полу в чулане – и все это начинает плыть и двоиться как в призме, но тут ты подтягиваешь винт и все опять в фокусе. И вот Боки возвращаются на балкон. Достиг-ли он своей цели – и если достиг, видит-ли он нас?

4

Классический представитель бывших смертных, он свешивается, облокотясь, с заросшего цветами утеса чтобы рассмотреть Землю, эту игрушку, этот волчок, выставленный напоказ и медленно вращающийся в своей образцовой тверди; как веселы и отчетливы все ее детали – рисованные океаны, молящаяся женщина Балтийского моря, снимок изящных Америк, замерших в своем трюке на трапедии, Австралия, похожая на маленькую Африку, повернутую набок. Между моими сверстниками найдутся такие, которые в глубине души верят, что их духи будут с трепетом и грустью глядеть с небес на свою родную планету, препоясанную широтами, стянутую в корсет меридианов, и быть может даже испещренную жирными, черными, дьявольски изогнутыми стрелами мировых войн; или того лучше, она развернется перед их взором как иллюстрированная карта каникулярных Эльдorado, где вот тут индеец из заповедника бьет в барабан, а там – девушка в коротких штанах, а вот – контуры конических елок карабкаются на конусы гор, и куда ни глянь, везде рыболовы.

Я думаю, что на самом деле мой молодой потомок, выйдя в первый раз ночью наружу, в воображаемую тишину невообразимого мира, должен будет созерцать поверхность земного шара сквозь толщу его атмосферы, и значит будет пыль, снующие там и сям блики, дымка и всевозможные оптические ловушки, так что континенты, если и покажутся сквозь переменчивую облачность, будут проскальзывать в диковинных обличьях, с необъяснимыми цветными проблесками и неузнаваемыми очертаниями.

Но все это несущественно. Главное же – выдержит ли разум исследователя такое потрясение? Пытаюсь представить себе природу этого потрясения настолько ясно, насколько это допустимо без вреда для разсудка. И если даже вообразить этого нельзя не подвергая себя чудовищному риску, то как в таком случае перенести и пережить действительное, а не воображаемое ошеломление?

Прежде всего Лансу придется считаться с древними предрассудками. Мифы так прочно въелись в лучезарное небо, что житейская мудрость стремится увильнуть от поисков мудрости не-житейской, которая за ними стоит. Безсмертию нужна звезда для опоры, если оно желает ветвиться и цвести и давать приют тысячам синеперых ангельских птиц, сладкогласых как маленькие евнухи. В глубине человеческого сознания идея смерти равнозначна идее оставления земли. Избавиться от земного притяжения значит превозмочь могильную тяжесть земли, так что оказавшемуся на другой планете трудно удостовериться в том, что он не умер – что старая наивная сказка не оказалась правдой.

Меня не занимает межеумок, заурядный гладкокожий примат, которого ничем не удивишь; из детских воспоминаний ему запало только, что его укусил мул, а будущее для него ограничивается предвкушением харчей да постели. Я же думаю о человеке, обладающем воображением и знаниями, храбрость которого безгранична оттого что его любопытство берет верх даже над храбростью. Его ничто не остановит. Таких в старину называли *сигеих*, только он более крепкого закала и здоровее сердцем. Когда он исследует небесное тело, то наслаждение, которое он испытывает, сродни страстному желанию осязать собственными пальцами, гладить, изучать, приветствовать улыбкой, вдыхать, снова гладить – с тою же самой улыбкой безымянного, мычащего, млеющего упоения – никем доселе нетроганное вещество из которого этот небесный предмет сотворен. Всякий настоящий ученый (в отличие от бездарного шарлатана, чье невежество единственное его сокровище, которое он прячет словно кость) способен испытывать это чувственное удовольствие непосредственного и не-

постижимого знания. Неважно, двадцать ему лет или восемьдесят пять, но без этого зуда нет и науки. Ланс был создан из такого именно материала.

Напрягая воображение до последней крайности, я вижу как он пытается совладать с паническим ужасом, бабуину незнакомым вовсе. Ланс, безусловно, мог бы опуститься, подняв оранжевое облако пыли, где-нибудь в центре пустыни Фарсис (если это и впрямь пустыня) или недалеко от фиолетового водоема – Феникс или Оти (если это действительно озера), Но с другой стороны... Видите-ли, как это иногда бывает в подобных случаях, что-то непременно объяснится сразу, страшно и безповоротно, между тем как другие загадки будут появляться по очереди, одна за другой, и разгадываться постепенно. Мальчиком, я...

Мальчиком семи или восьми лет, мне случалось видеть один и тот же смутно повторявшийся сон, места действия которого я никогда не мог опознать и сколько-нибудь рационально определить, хотя перевидал много странных мест. Мне хочется теперь воспользоваться им чтобы залатать зияющую дыру, рваную рану в моей повести. Ничего необычайного в этой местности не было, ничего ужасного или даже диковинного: просто пядь ни к чему не обязывающей устойчивости, представленной участком ровной поверхности и обволокнутой чем-то неопределенно-туманным; иными словами, скорее безразличная изнанка пейзажа, чем его фасад. Неприятно в этом сновидении было то, что я почему-то не мог обойти это пространство кругом, чтобы встретить его лицом к лицу. В тумане угадывалось нечто массивное – вроде бы каменная порода какая-то, – гнетущих и вполне бессмысленных очертаний, и в продолжение моего сна я все наполнял какой-то сосуд (который можно перевести как «ведро») объемами меньшего размера (их можно передать словом «камушки»), и из носа у меня текла кровь, но я был слишком взбудоражен и взволнован, чтобы обращать на это внимание. И каждый раз, что мне снился этот сон, кто-то позади меня вдруг начинал кричать, и я просыпался тоже с криком, как бы подхватывая первоначальный, неизвестно чей вопль, с его изначальной же нотой все усиливающегося ликования, но уже лишенный всякого значения – если вообще тут имелось какое-то исходное значение. Говоря о Лансе, я желал бы заметить, что нечто похожее на мой сон – но вот что забавно: когда перечитываю написанное, весь фон, все подлинное, что было в воспоминании, испаряется – вот теперь и вовсе исчезло – и не могу поручиться даже самому себе, что запись эта продиктована собственным моим переживанием. Я только хотел сказать, что Ланс и его товарищи, достигнув своей планеты, может быть почувствовали нечто напоминающее мой сон – который теперь уже и не мой.

5

Но они возвратились! Верховой несется вскачь, цок-цок, по булыжной мостовой к дому Боков сквозь проливной дождь и выкрикивает невероятную свою весть, круто осадив коня у ворот, возле струящейся магнолии, а Боки опроретью выбегают из дома как два дикобразных грызуна. Вернулись! Вернулись пилоты, астрофизики и один натуралист (другой, Денис, погиб и его оставили на небесах, так что в этом случае старая сказка получила любопытное подтверждение).

На шестом этаже провинциальной больницы, тщательно скрываемой от репортеров, Бокам говорят, что их сын в маленькой приемной, второй направо, и готов к их визиту; есть какая-то сдержанная почтительность в тоне этого сообщения, как если бы оно относилось к сказочному королю. Входить надо будет не поднимая шума; сестра Кувер будет там неотлучно. О да, он чувствует себя хорошо, говорят им – может даже отправляться домой на будущей неделе. Тем не менее они могут побыть с ним всего несколько минут, и пожалуйста никаких разспросов – просто поболтайте о том о сем. Ведь вы понимаете. А потом скажете, что придете опять завтра-послезавтра.

Ланс в сером халате, коротко стриженный, загар сошел, переменявшийся, нет, прежний, нет, переменявшийся, худой, ноздри заткнуты шариками ваты, сидит на краю кушетки, сцепив руки, немного смущен. Нетвердо встает с гримаской улыбки и снова садится. У мадам Кувер, сестры милосердия, синие глаза, но нет подбородка.

Тишина дозревала. Тогда Ланс говорит: «Было замечательно. Просто замечательно. В

ноябре опять отправлюсь».

Пауза.

– По-моему, говорит Бок, Шилла брюхата.

Быстрая улыбка, легкий кивок довольной признательности. Потом, повествовательным тоном: «Je vais dire ça en français. Nous venions d'arriver...»⁸⁷.

– Покажите же им письмо от Президента, говорит мадам Кувер.

– Только что мы прибыли туда, продолжает Ланс, – Денис был еще жив, и первое что мы с ним видим...

Сестра Кувер перебивает, вдруг затараторив: «Нет, Ланс, нет. Нет, сударыня, прошу вас. Доктор приказывал – никаких контактов, очень вас прошу».

Теплый висок, холодное ухо.

Боков выпроваживают. Они шибко шагают – хотя спешить некуда, просто совершенно некуда спешить – по корридору, вдоль его обшарпанной, фисташково-охряной стены, нижняя фисташковая половина отделена от верхней охряной непрерывной коричневой линией, ведущей к преклонного возраста лифтам. Наверх (успели заметить старца в инвалидном кресле). Едет обратно в ноябре (Ланселин). Вниз (старики Боки). В этом лифте были две улыбающиеся дамы и молодая женщина с младенцем (предметом их радостного умиления), если не считать седовласого, согбенного, хмурого лифтера, стоящего ко всем спиной.

Итака, 1952 г.

Сестры Вейн⁸⁸

1

Я бы мог так никогда и не узнать о смерти Цинтии, если бы в тот вечер не столкнулся с Д., которого я вот уже года четыре как потерял из виду; и я мог бы никогда не встретиться с Д., если бы моим вниманием не завладела вереница пустяшных наблюдений.

Мело всю неделю, но в воскресенье погода усовестилась, и день переливался самоцветами пополам со слякотью. Во время моей обычной вечерней прогулки по холмистому городку при женском институте, где я преподавал французскую словесность, я заметил семейку сверкающих сосуллек, кап-кап-лющих с карниза дощатого дома, и остановился. Их заостренные тени до того отчетливо вырисовывались на белых досках позади, что я не сомневался, что можно будет подглядеть даже и тени падающих капель. Но этого-то никак не удавалось. То ли крыша выступала чересчур далеко, то ли угол зрения был не тот, а может быть я просто смотрел не на ту сосульку в момент падения нужной капли. Был тут какой-то ритм, какое-то чередование капли, которое подстегивало мое любопытство, вроде известного фокуса с монетой. Тогда мне пришло в голову исследовать углы еще нескольких зданий в округе, что привело меня на улицу Келли, прямо к тому дому, в котором когда-то жил Д. в бытность свою преподавателем в институте. И когда я взглянул наверх, на карниз смежного с домом гаража, где висел полный ассортимент прозрачных сталактитов с голубыми силуэтами позади, я остановил свой выбор на одном из них и был, наконец, вознагражден, увидев как-бы точку восклицательного знака, покинувшую свое обыкновенное место и очень быстро скользнувшую вниз – на краткий миг опередив саму каплю, с которой она состязалась наперегонки. Чуден был этот двойной искрящийся перемиг, но мне чего-то недоставало; вернее, он только раздражил мой аппетит, так что захотелось еще других изысканных прелестей света и тени, и я пошел дальше в состоянии обнаженной восприимчивости, которая, казалось, обратила всего меня в одно большое, вращающееся в глазнице мира око.

Сквозь павлинью радугу сощуренных ресниц смотрел я на алмазную игру света на по-

⁸⁷ Я лучше по-французски. Прибываем мы... (фр.)

⁸⁸ Вейн (Vane) по-английски значит «флюгер».

катою спине запаркованного автомобиля, на которой отражалось низкое солнце. Губка оттепели возвратила множеству вещей красочный наглядный смысл. Вода стекала наплывавшими друг на друга фестонами вниз по крутой улице и плавно сворачивала в другую. Узкие проемы между домами с едва уловимым оттенком показной привлекательности обнаруживали кирпичные фиолетовые сокровища. Это был первый раз что я обратил внимание на непритязательную гофрировку, украшавшую мусорный бидон (последний отзвук каннелюрной отделки колонн), и увидел зыбь на его крышке – круги, расходящиеся из немыслимо древнего центра. Стоячие, темноглавые фигуры из мертвого снега (оставленные в пятницу плугом бульдозера) выстроились в ряд вдоль панели как рудиментарные пингвины над дрожащим блеском оживших проточных ручьев.

Я шел вперед, и возвращался назад, и забрел прямо в нежно умиравшее небо, и наконец цепочка наблюдаемых и наблюдающих предметов привела меня, в обычный мой обеденный час, на улицу весьма удаленную от той, где я обыкновенно обедаю, так что я решил зайти в ресторанчик, стоявший на краю города. Когда я вышел оттуда, ночь уже пала без дальних слов и церемоний. Тощий призрак – продолговатая тень, отбрасываемая счетчиком автомобильной стоянки на мокрый снег – была странного рдяного оттенка; я установил, что причиной тому был желтовато-красный фонарь ресторанной вывески над троттуаром; и вот тут-то – покамест я там топтался, устало соображая, удастся ли мне, когда буду плестись восвояси, набрести на сходное явление, но только в неоновом-синем колере – возле меня с визгом остановился автомобиль и из него с наигранно-радостным восклицанием вылез Д.

Он проезжал через город, где когда-то жил, по пути в Бостон из Альбани, и не в первый уже раз я почувствовал вчуже укол вины, сменившийся чувством неприязни по отношению к вояжерам, которые как-будто не испытывают решительно никаких эмоций, оказываясь в местах, где на каждом шагу их должны подстергать стенающие и корчащиеся воспоминания. Он завел меня обратно в кабачок, из которого я только что вышел, и после обыкновенного обмена бодренькими банальностями образовался неизбежный вакуум, который он заполнил первыми подвернувшимися словами: «Знаете, вот ведь никогда я не думал, что у Цинтии Вейн большое сердце. Мне мой адвокат сказал, что она умерла на прошлой неделе».

2

Он был по-прежнему молод, по-прежнему хамоват и скользковат, по-прежнему женат на мягкосердечной, изысканно-красивой женщине, которая не подозревала и так никогда и не узнала о его несчастном романе с истерической младшей сестрой Цинтии, а та в свою очередь не имела понятия о разговоре, который произошел у меня с Цинтией, когда она неожиданно вызвала меня в Бостон и заставила поклясться, что я поговорю с Д. и добьюсь того, что его «вышвырнут» из института, если он немедленно не прекратит связи с Сивиллой – или не разойдется с женой (которую она, между прочим, представляла себе, через призму бредовых рассказов Сивиллы, как мегеру и уродину). Я тотчас приступил к нему. Он сказал, что беспокоиться не об чем – все равно он решил бросить преподавание и переехать с женой в Альбани, где он будет служить в фирме отца; и вся эта история, угрожавшая превратиться в одно из тех безнадежно-запутанных положений, которые тянутся годами, обрастая побочными группами друзей-доброхотов, без конца обсуждающих перипетии дела в круговой поруке тайны – и даже заводящих, на почве чужой беды, свои собственные романы, – внезапно прекратилась.

Помню, что на другой день я сидел за столом на возвышении, в большой классной зале, где накануне самоубийства Сивиллы проводился курсовой экзамен по французской литературе. Она пришла в туфлях на высоких каблучках, с саквояжем, который шваркнула в угол, куда были свалены прочие сумки, одним движением скинула шубку с худых плеч и сложила ее пополам на своем бауле, и с двумя-тремя другими девушками задержалась перед моим столом, чтобы узнать, как скоро я пошлю им почтовые извещения⁸⁹ о выставленных

⁸⁹ Студенты разъезжаются на Рождественские вакации по домам (на месяц), и американские профессора иногда извещают их о выставленных за экзамен или за весь курс баллах по почте. Сивилла сразу после экза-

баллах. Чтобы прочитать все сочинения, сказал я, мне понадобится неделя, считая с завтрашнего дня. Помню еще, что подумал, сообщил ли ей Д. уже о своем решении, – и испытывал чувство острой жалости к моей добросовестной студенточке всякий раз, что в продолжение ста пятидесяти минут мой взгляд останавливался на ней, такой по-детски щуплой в своем тесном сером платье, и я разглядывал ее старательно уложенные темные волосы, шляпку с миниатюрными цветами и гиалиновой вуалькой, какие носили в тот сезон, а за нею маленькое лицо, покрытое шрамами от кожной болезни и вследствие того напоминающее кубистическую картину, несмотря на жалкую попытку скрыть это загаром от искусственной солнечной лампы, отчего черты лица поглубели, причем прелесть его еще больше пострадала оттого что она накрасила все что только можно было накрасить, так что бледные десны зубов между потрескавшимися вишнево-красными губами, да еще разбавленные синие чернила глаз под тушью подведенными веками были единственными доступами, через которые ее краса приоткрывалась взгляду.

Назавтра, разложив неказистые тетради в азбучном порядке, я погрузился в хаос почерков и преждевременно⁹⁰ наткнулся на сочинения Валеvской и Вейн, чьи тетрадки я почему-то положил сверху. Первая по случаю экзамена разстаралась, и ее руку еще можно было с грехом пополам разобрать, но работа Сивиллы являла собой всегдашнюю смесь нескольких демонических почерков. Она начала писать очень бледным и очень твердым карандашом, который вытеснял глубокие рубцы на обороте листа, но на лицевой стороне не оставлял сколько-нибудь существенных следов. К счастью, грифель скоро обломился, и Сивилла продолжала писать другим, более темным карандашом, и постепенно дошла до такой толщины размытых линий, что казалось она пишет почти что углем, к которому примешивались следы губной помады из-за того, что она слюнула тупой кончик грифеля. Ее сочинение, хотя оно было и хуже, чем я предполагал, хранило все признаки отчаянного старания, с подчеркиваниями, перестановками частей текста, необязательными сносками – словно бы она положила себе покончить со всеми делами самым достойным образом. Потом она заняла у Мэри Валеvской автоматическое перо и дописала: «Cette examain est finie ainsi que ma vie. Adieu, jeunes filles! Пожалуйста, Monsieur le Professeur, скажите ma soeur⁹¹, что Смерть не лучше, чем D с минусом⁹², но все-таки лучше, чем жизнь минус Д.»

Я безотлагательно телефоновал Цинтии, и она сказала мне, что все кончено, – все уже было кончено в восемь часов утра – и попросила принести записку, а когда я принес ее, улыбнулась сквозь слезы, с гордостью восхищаясь тем, как своеобразно Сивилла воспользовалась («Как это на нее похоже!») экзаменом по французской литературе. Она тут же «сварганила» два стакана виски с сельтерской водой, все не разставаясь с тетрадкой Сивиллы (забрызганной теперь сельтерской и слезами), и углубилась опять в изучение предсмертного послания, после чего мне пришлось указать ей на грамматические ошибки в нем и объяснить, как в американских колледжах переводят слово «девочка» из опасения, что студенты будут щеголять французским эквивалентом «девки» или чего похуже. Эти несколько безвкусные пустяки страшно понравились Цинтии, которая уже выплыла, жадно хватая воздух, на поверхность своего горя. Потом, держа эту раскисшую тетрадь как паспорт в некий будничнй Элизий (где карандашные грифели не обламываются и где мечтательная юная красавица с безукоризненным лицом наматывает локон на свой мечтательный палец, задумавшись над каким-то небесным экзаменом), Цинтия повела меня во второй

мена уезжает в Бостон (оттого шляпка и чемодан).

⁹⁰ Тетради Валеvской и Вейн должны были бы лежать в конце стопки, так как буква «В» двадцать вторая в английской азбуке.

⁹¹ «Экзамен кончен, как и жизнь моя. Прощайте, девочки! Пожалуйста, г. профессор, скажите моей сестре...» (фр.)

⁹² Чтобы понять этот каламбур, надо знать, что в Америке применяется литерная пятибалльная система, при которой первые четыре балла, А, В, С, и D означают убывающую степень удовлетворительности, а «F» означает провал (по первой букве слова failure). «D с минусом», таким образом, соответствует скорее тройке с минусом, то есть самому низкому зачетному баллу.

этаж, в холодную спальню, чтобы показать мне – как-будто я был пристав или соболезнующий ирландец-сосед – два пустых пузырька из-под пилюль и разворошенную постель, из которой уже было удалено нежное, несущественное тело, должно быть знакомое Д. до последней бархатистой подробности.

3

Я стал видаться с Цинтией довольно часто месяца через четыре или пять по смерти ее сестры. Я тогда приехал в Нью-Йорк, чтобы заниматься по своей специальности в Публичной библиотеке, она тоже туда перебралась и по непонятной причине (имевшей, надо полагать, какое-то смутное отношение к ее художественным занятиям) поселилась на квартире того разряда, который люди, не знающие что такое мурашки по коже, зовут «квартирой с холодной водой», в нижних кварталах поперечных улиц города. Меня не привлекали ни ее манеры, казавшиеся мне отталкивающе экспансивными, ни ее внешность, которую другие мужчины находили яркой. У нее были широко поставленные, очень напоминавшие сестрины, глаза открытой, испуганной синевы с черными, лучеобразно расходящимися точечками. Переносье между густыми черными бровями всегда у ней блестело, как, впрочем, и мясистые крылья ноздрей. Шероховатая поверхность ее эпидермы больше походила на мужскую, и в резком свете лампы в мастерской на ее тридцатидвухлетнем лице видны были поры, чуть ли не глазевшие на вас как бы из аквариума. Она пользовалась гримом столь же безудержно, что и ее младшая сестра, но еще и неаккуратно, отчего на ее крупных резцах оставались следы губного карандашика. У нее были красивые темные волосы, она носила не вовсе безвкусную смесь довольно элегантных, разнородных вещей и имела что называется хорошую фигуру, но вообще она была на редкость неряшлива, и неряшливость эта у меня как-то связывалась с левизной в политике и с «передовыми» пошлостями в искусстве, хотя на самом деле ей было чуждо и то, и другое. Ее кольчатая прическа на пробор, с высоким пучком назад, казалась бы диковатой и вычурной, кабы ее не одомашнивал нежный беспорядок на беззащитном затылке. Ногти она красила в крикливые цвета, но они были сильно обкусаны и нечисты. В любовниках у нее были: неразговорчивый молодой фотограф, вдруг принявшийся хохотать, и двое пожилых мужчин, братьев, владевших маленьким типографским заведением через дорогу. Я дивился невзыскательности их вкуса всякий раз, что мне случилось с тайным содраганием увидеть туда-сюда бегущие полоски черных волосков, проступавших сквозь найлоновый чулок по всей длине ее бледной голени с научной отчетливостью сплющенного под стеклом препарата; или когда при каждом ее движении до меня доносился глуховатый, затхловатый, не особенно явный, но вездесущий и нудный запах, который источала ее нечасто мытая плоть из-под слоя износившихся духов и кремов.

Отец ее проиграл большую часть солидного состояния, а первый муж ее матери был славянского происхождения, но в остальном Цинтия Вейн происходила из хорошей, добропорядочной семьи. Вполне возможно, что ее род восходит к князьям и кудесникам туманных островов на краю света. Переселившись в свет поновой, в живописную местность среди обреченных, прекрасных лиственных деревьев, ее предки на одной из начальных ступеней являли собою фермеров-прихожан белой церквушки на фоне черной тучи, а позже – внушительный ряд мещан, занимавшихся торговым делом, равно как и несколько людей ученых, как, например, д-р Джонатан Вейн, сухощавый педант (1780–1839), погибший при пожаре на пироскафе «Лексингтон» и потом сделавшийся неперенным гостем за вертящимся столом Цинтии. Мне всегда хотелось поставить, генеалогию на голову, и в данном случае я как раз могу это сделать, ибо только последний отпрыск династии Вейнов, Цинтия, останется единственным его достойным внимания представителем. Я, конечно, имею в виду художественное дарование, ее чудесную, радостную, но не очень ходкую живопись, которую изредка покупали друзья ее друзей, – и мне очень и очень хочется знать, куда девались после ее смерти эти честные, поэтические картины, украшавшие ее гостиную: изображения металлических предметов с изумительно выписанными подробностями, и мой любимый «Вид сквозь ветровое стекло» – стекло с одной стороны схвачено инеем, а по его прозрачной стороне сбегает переливчатая струйка (с воображаемой крыши автомобиля), и за всем этим

виднеется сапфирное пламя неба и бело-зеленая елка.

4

У Цинтии было ощущение, что покойная сестра не совсем ею довольна, так как той теперь открылось, что мы с Цинтией сговорились тогда положить конец ее роману; и вот, чтобы ублажить ее тень, Цинтия прибегла к несколько примитивному жертвоприношению (тем не менее, было в этом что-то от Сивиллиного юмора) и начала посылать по адресу конторы Д. через умышленно нерегулярные интервалы всякую дребедень, как-то: фотографические снимки могилы сестры при слабом освещении; обрезки собственных ее волос, неотличимых от Сивиллиных; подробную карту Новой Англии, на которой крестиком было помечено место между двумя непорочными городишками, где двадцать третьего октября, среди бела дня, Д. и Сивилла остановились в придорожной гостинице нестрогих правил, в розово-коричневому лесу; и чучело скунса (дважды).

Будучи собеседницей скорее многоречивой, чем доходчивой, она никогда не могла вполне объяснить изобретенную ею теорию о вмешательстве потусторонних веяний, или «аур», в нашу жизнь. Собственно, в ее частном догмате не было ничего особенно нового, ибо он предполагал существование весьма заурядного загробного мира – безмолвного солярия для бессмертных душ (сращенных со своими смертными предшественницами), главное развлечение коих состоит в периодическом витании вокруг милых им людей. Интересно же тут было то, что Цинтия вносила в свою непритязательную метафизику любопытный практический элемент. Она была уверена, что ее жизнь подвержена влиянию самых разных умерших друзей, каждый из которых по очереди направлял ее судьбу, как если бы она была потерявшимся котенком, которого мимоидущая школьница подхватывает на руки, и прижимает к щеке, и осторожно опускает на землю, около какой-нибудь живой изгороди за городской заставой, а через минуту его уже гладит рука другого прохожего – или какая-нибудь гостеприимная дама уносит его в мир дверей.

В продолжение нескольких часов, а то и дней подряд, иногда возобновляясь через неправильные промежутки времени по целым месяцам или годам, все, что бы ни происходило с Цинтией по смерти какого-нибудь человека, происходило, по ее словам, в соответствии с обычаем и настроением этого человека. Событие могло быть чрезвычайным, меняющим ход всей жизни, – или чередой мелких происшествий, заметных ровно постольку, поскольку они выделяются на будничном фоне, после чего они растворяются в еще более туманных частностях по мере того, как «аура» сходит на нет. Это веянье может быть хорошим или дурным, но важно то, что можно установить его источник. Как будто проходишь сквозь душу человека, сказала она. Я пытался возразить, что она не может всегда знать наверное этот источник, потому что не у каждого имеется распознаваемая душа; что неподписанные письма или подарки к Рождеству может послать кто угодно; более того, то, что Цинтия называет «будничным фоном», может само по себе быть слабым раствором перемешанных «веяний» или просто очередным дежурством обыкновенного ангела-хранителя. Да и как быть с Богом? Разве люди, для которых невыносима мысль о всемогущем земном диктаторе, не мечтают о небесном? А войны? Что за гнусная идея: мертвые солдаты дерутся с живыми, или полчища призраков пытаются одолеть друг друга, распоряжаясь жизнью старых калек.

Но Цинтия была выше обобщений, равно как и вне пределов логики. «Ах, это Поль», бывало, говорила она, когда суп, злобно закипая, убежал, или: «Милая Бетти наверное умерла», когда она выиграла в благотворительную лотерею превосходный и очень нужный пылесос. И с Джемсовскими околичностями⁹³, так раздражавшими мой французский ум, она вспоминала ту пору, когда Бетти и Поль еще были в живых, и рассказывала о дарах, которыми ее осыпали из лучших побуждений, но которые оказывались до того странными, что их невозможно было принять – начиная со старенького портмоне с чеком на три доллара, который она нашла на улице и, разумеется, возвратила (вышеназванной Бетти Браун – вот

⁹³ Должно быть, Вильям Джемс (William James, 1842–1910), знаменитый американский психолог (которого, между прочим, Набоков любил с детства и с сыном которого был дружен в Америке).

где она впервые выходит на сцену – дряхлая, едва передвигающаяся негритянка), и кончая оскорбительным предложением одного ее прежнего кавалера (вот где выплывает Поль) изобразить «без выкрутасов» его дом и семью за умеренное вознаграждение – и все это случилось после кончины какой-то г-жи Пейдж, добродушной, но придиричивой старушонки, которая надоедала Цинтии житейскими советами с самого детства.

У личности Сивиллы, говорила она, был радужный край, словно бы она была немного не в фокусе. Она сказала, что если б я знал Сивиллу покороче, я сразу бы увидел, до чего в ее духе была «аура» мелких происшествий, которая время от времени обволакивала ее, т. е. Цинтии, жизнь после самоубийства Сивиллы. Еще с тех пор, как они лишились матери, они хотели оставить свой бостонский дом и переехать в Нью-Йорк, где, как им казалось, живопись Цинтии скорее получит должное признание; но старый дом вцепился в них всеми своими плюшевыми щупальцами. Однако после своей смерти Сивилла принялась отделять дом от окружающего ландшафта, что убийственно сказывается на самом ощущении своего дома. Прямо насупротив, на другой стороне узкой улочки, затеялось шумное, безобразное, огородившееся лесами строительство. Тою же весной умерла чета давно знакомых тополей, превратившихся в белесые скелеты. Пришли рабочие и взломали красивую, теплого цвета, старую панель троттуара, что отливала особой лиловизной в мокрые апрельские дни и так незабываемо отзывалась на утренние шаги идущего в музей г-на Ливера, который, удалившись от дел в шестьдесят лет, посвятил целую четверть века исключительно изучению улиток.

Говоря о стариках, следует прибавить, что порою этот посмертный надзор и вмешательство в дела живых принимали вид пародии. Цинтия когда-то была в приятельских отношениях с чудаковатым библиотекарем по имени Порлок, который в последние годы своей покрытой пылью жизни просматривал старинные книги на предмет отыскания в них таких магических опечаток, как «l» вместо второго «h» в слове «hither»⁹⁴. В противоположность Цинтии он был чужд восторгам замысловатых предсказаний; его занимала сама аномалия, нечаянность имитирующая неслучайность, изъясн кажущийся зияньем⁹⁵; и Цинтия, гораздо более извращенная любительница изувеченных или незаконно соединенных слов, каламбуров, логогрифов и так далее, помогала бедному сумасброду в розысках, которые, судя по приведенному ею примеру, представлялись мне с вероятностной точки зрения безумием. Как бы то ни было, по ее словам, на третий день после его смерти она читала какой-то журнал, и когда ей попала на глаза цитата из одной бессмертной поэмы (которую она, вместе с другими наивными читателями, считала и в самом деле сочиненной во сне), ее осенило, что слово «Alph» содержало пророческое сочетание начальных букв Анны Ливии Плюрабель (название другой священной реки, протекающей через еще один мнимый сон⁹⁶ – или вернее, огибающей его), с добавочной «h», которая подобно путеводному знаку, понятному только посвященным, скромно указывала на столь поразившее г-на Порлока слово. Наконец, жалею, что не могу вспомнить того романа или рассказа (какого-то современного писателя, если не ошибаюсь), в последнем абзаце которого первые буквы слов неведомо для автора складывались, по истолкованию Цинтии, в послание от его покойной матери.

5

Как это ни грустно, Цинтия не довольствовалась этими хитроумными фантазиями и имела нелепую слабость к спиритизму. Я отказывался сопровождать ее на сеансы, в которых участвовали платные медиумы: слишком хорошо я был осведомлен о подобного рода вещах по другим источникам. Я, однако, согласился присутствовать на маленьких фарсах, устраи-

⁹⁴ «Hither» значит «сюда» по-английски.

⁹⁵ В оригинале «flaw» — «flower»; ср. вторую строку четверостишия из пятой главы.

⁹⁶ «Бессмертная поэма... мнимый сон» — в первом случае имеется в виду поэма Кольриджа «Кубла-Хан» (см. особенно предисловие); во втором, *Finnegans Wake* Джойса. Одно время Набоков хотел назвать свой второй английский роман, *Bend Sinister* (Под знаком незаконнорожденных, 1947), — *Человек из Порлока*.

вавшихся Цинтией и двумя ее каменнолицыми друзьями из типографии. Эти учтивые, пожилые господа с толстенькими брюшками производили жутковатое впечатление, но я был доволен уже тем, что они были достаточно остроумны и воспитаны. Мы сели за легкий столик, и не успели коснуться его кончиками пальцев как началось потрескивание и подрагивание. Меня потчевали большим разнообразием духов, которые очень охотно отбарабанивали свои отчеты, хотя и отказывались объясниться, если я чего-нибудь недопонимал. Явился Оскар Вайльд и французской скороговоркой, изобиловавшей ошибками и обычными англицизмами, невнятно обвинил покойных родителей Цинтии в чем-то, что в моих записях фигурирует как «плагиатизм»⁹⁷. Один назойливый дух поведал непрошенные сведения о том, что он, Джон Мур, и его брат Виль были углекопами в Колорадо и погибли при обвале шахты «Хохлатая Красотка» в январе 1883-го года. Фредерик Майерс⁹⁸, набивший руку в этой игре, оттараторил стихотворение (до странного напоминающее собственные Цинтии стишки на случай), которое я отчасти записал:

Что это такое? Ловкий трюк,
Или блик – с изъязном, но действительный?
Разорвет ли он порочный круг
И разгонит ли кошмар томительный?

Наконец, с ужасным грохотом, со всечасными судорогами и корчами стола, нашу небольшую компанию посетил Лев Толстой, и когда его попросили подтвердить, что это он самый и есть, посредством какой-нибудь отличительной особенности земного обихода, он пустился в сложные описания каких-то видов русской деревянной архитектуры, что ли («фигуры на досках: человек, конь, петух, человек, конь, петух»), что было не просто записывать, трудно понять, и невозможно удостовериться.

Я присутствовал еще на двух-трех сеансах, которые были еще того глупее, но, признаюсь, я предпочитал доставляемое ими детское развлечение и подаваемый во время оногo сидр (Толстобрюшкин и Толстопузин были трезвенники) несносным домашним вечеринкам Цинтии.

Она устраивала их в уютной соседней квартире Вилеров – что отвечало ее центробежной натуре; но и то сказать, собственная ее гостиная всегда выглядела как старая неотмытая палитра. Следуя варварскому, нечистоплотному и развратному обычаю, спокойный, плешивый Боб Вилер относил пальто гостей, еще теплые внутри, в святилище опрятной спальни и сваливал их в кучу на супружеской постели. Сверх того, он разливал напитки, которые разносил молодой фотограф, а Цинтия с г-жой Вилер между тем занимались приготовлением бутербродов.

Взору опоздавшего являлась громогласная толпа людей, зачем-то сгрудившихся в синем от дыма пространстве меж двух зеркал, до краев наполненных отражениями. Вероятно вследствие того, что Цинтии хотелось быть моложе всех в комнате, она всегда приглашала женщин, все равно замужних или нет, которым в лучшем случае было очень далеко за сорок; иные из них приносили с собою из дому, в темных таксомоторах, нетронутые следы красивой наружности, которые они, однако, в течение вечера растеривали. Никогда не уставу поражаться способности общительных завсегдатаев субботних пирушек чисто эмпирически, но очень точно и очень быстро, находить общий знаменатель опьянения, которого они строго держатся до тех пор, пока сообща не опустятся на следующий уровень. В щедрой

⁹⁷ «Плагиатизм» (plagiatisme, по-французски) — дело в том, что в книге Уайльда *Портрет Дориана Грея* имеется Сивилла Вейн.

⁹⁸ Фредерик Майерс (Myers) — английский философский писатель (1843–1901), окончивший, между прочим, тот же колледж Кембриджского университета (Троицын), что и Набоков. Он был одним из основателей — и неперменным членом до самой своей смерти — *Общества для изучения психических явлений*, интересовался потусторонним, и написал несколько книг по этому предмету: *Фантазмы бытия (Phantasms of Living)*, *Наука и загробная жизнь (Science and a Future Life)*, и *Личность человека и ее жизнь после физической смерти (Human Personality and Its Survival of Bodily Death)*. Кроме того, Майерс дважды издал сборник своих стихотворений.

ласковости дам слышались озорные нотки, между тем как приятно подвыпившие мужчины занимались пупоглядением, что походило на кощунственную пародию беременности. Хотя некоторые из гостей были так или иначе связаны с миром искусства, не было ни вдохновенных речей, ни подпертых рукою голов в венках, не говоря уже о флейтистках. Из какой-нибудь стратегической точки, где Цинтия сидела на блеклом ковре в обществе одного-двух мужчин помоложе, в позе выброшенной на сушу няяды, с лицом как лаком покрытым пленкой блестящего пота, она приподнималась на колени, держа блюдо с орешками в протянутой руке, и звучно хлопала другой по атлетической ноге не то Кокрана, не то Коркорана – торговца картинами, удобно устроившегося на перлово-сером диване между двумя возбужденными, радостно расплзающимися на составные части дамами.

На следующей стадии начинались всплески веселья более буйного. Коркоран или Корранский хватал Цинтию или другую проходящую женщину за плечо и уводил ее в угол, где донимал ее ухмыляющейся мешаниной одному ему понятных острот и сплетен, после чего она, со смехом потрянув головой, вырывалась. Еще позже там и сям возникали спорадические проявления фамильярности между полами, шутовские примирения, чья-нибудь мясистая, голая рука обвивалась вокруг талии чужого мужа (стоящего очень прямо посреди заходившей под ногами комнаты), и кто-то внезапно раздражался кокетливым гневом, кто-то кого-то неуклюже преследовал – между тем как Боб Вилер со спокойной полу-улыбкой подбирал бокалы, которые появлялись как грибы в тени стульев.

После очередной такой вечеринки я написал Цинтии совершенно безобидное и в сущности доброжелательное письмо, в котором слегка подтрунивал в романском духе над некоторыми из ее гостей. Кроме того, я просил прощения за то, что не прикоснулся к ее виски, сказав, что, будучи французом, предпочитаю лозу злакам. Через несколько дней я увидел ее на ступеньках Публичной библиотеки, под солнцем, брызнувшем в просвет тучи; шел слабый ливень, и она пыталась раскрыть янтарный зонтик и в то же время не выронить зажатые под-мышкой книги (от которых я ее на время избавил) – «На краю мира иного» Роберта Дейля Овена и нечто о «Спиритизме и Христианстве» – как вдруг, ни с того, ни с сего, она разразилась обвинительной тирадой, грубой, горячей, язвительной, говоря – сквозь грушевидные капли редкого дождя – что я сухарь и лицемер; что я вижу только жесты и личины людей; что Коркоран спас двух утопающих в двух разных океанах – по совпадению обоих звали Коркоранами, но это не важно; что у егозы и трещотки Джоаны Винтер маленькая дочь обречена на полную слепоту в течение нескольких месяцев; и что женщина в зеленом платье с веснушчатой грудью, с которой я каким-то образом высокомерно обошелся, написала лучший американский роман за 1932-й год. Какая, однако, Цинтия странная! Мне рассказывали, что она может быть чудовищно груба с теми, к кому расположена и испытывает уважение; однако, нужно было где-то провести границу, и так как к тому времени я уже достаточно изучил ее курьезные ауры и прочие шуры-муры, то я решил больше с нею не встречаться.

6

В тот вечер, что Д. сообщил мне о смерти Цинтии, я вернулся к себе в двухэтажный дом, который делил, в горизонтальном сечении, с вдовой отставного профессора. Подойдя к крыльцу, я с присущей одиночеству настороженностью взгляделся в неодинаковую темноту в двух рядах окон: темноту отсутствия и темноту сна.

В отношении первой я еще мог кое-что предпринять, но воспроизвести вторую мне не удавалось. Я не чувствовал себя в безопасности в постели: мои нервы только подскакивали на ее пружинах. Я погрузился в сонеты Шекспира и поймал себя на том, что как последний болван проверяю, не образуют ли первые буквы строчек какого-нибудь слова с тайным значением. Я нашел FATE (рок, в LXX-м), АТОМ (в CXX-м), и дважды TAFT (27-й американский президент, в LXXXVIII-м и CXXXI-м). То и дело я оглядывал комнату, следя за поведением вещей. Странно было сознавать, что если начнут падать бомбы, то я почувствую не более чем возбуждение азартного игрока (и огромное земное облегчение), но что мое сердце лопнет, если какая-нибудь склянка вон на той полке, имеющая такой подозритель-

но-напряженный вид, сдвинется с места хоть на четверть вершка. Вот и тишина подозрительно уплотнилась, как будто нарочно готовился черный задник для вспышки нервов, которую мог вызвать любой незначительный звук неизвестного происхождения. Уличное движение замерло совершенно. Тщетно я молил, чтобы по Перкинсовой со стоном протачился грузовик. Соседка, жившая надо мной, бывало, доводила меня до изступления гулким топотом, производимым, казалось, чудовищными каменными пятнами (хотя при свете дня она была маленьким, пухленьким, унылого вида существом похожим на мумифицированную морскую свинку), но теперь я благословил бы ее, если б она проплелась в свою уборную. Я потушил свет и несколько раз прочистил горло, чтобы быть причиной хоть какого-нибудь звука. Мысленно я остановил жестом очень отдаленный автомобиль и поехал в нем, но он высадил меня прежде, чем мне удалось задремать. Вдруг какой-то шорох (вызванный, как хотелось мне думать, тем, что выброшенный и скомканный лист бумаги раскрылся, как зловредный, упрямый ночной цветок) донесся из корзины для мусора и затих, и мой ночной столик откликнулся легким щелчком. Было бы очень похоже на Цинтию, если бы она именно теперь начала разыгрывать дешевую мистерию с призраками.

Я решил дать отпор Цинтии. Я сделал мысленный смотр сверхъестественным явлениям и привидениям новейшего времени, начиная с постукиваний 1848-го года в нью-йоркском сельце Гайдсвилль и кончая фарсовыми чудесами в Кэмбридже Массачусеттском. Перед моим умственным взором проходили кости, лодыжки, и прочие анатомические кастаньеты сестер Фокс (согласно описанию мудрецов Университета Буффало); необъяснимо-распространенный тип болезненного юноши из хмурого Эпворта, не то Тедворта, вызывающего те же атмосферические волнения, что и в старом Перу; торжественно-мрачные Викторианские оргии, где розы падают, плывут аккордеоны, под звуки музыки священной; профессиональные самозванцы, отрывивающие мокрую марлю; г. Дункан, полный важного достоинства супруг женщины-медиума, который отклонил просьбу подвергнуть себя обыску, сославшись на несвежесть белья; престарелый Альфред Рассель Воллес, простодушный натуралист, отказавшийся поверить, что белая фигура с босыми ногами и непроколотыми мочками ушей, представшая перед ним на одном приватном шабаше в Бостоне, была чопорной мисс Кук, которую он только что видел спящей в углу за занавеской, в черном платье, в доверху зашнурованных ботинках и в серьгах; двое других естествоиспытателей, малорослых, тщедушных, но более или менее разумных и предприимчивых, руками и ногами облепивших Евпазию, крупную, дородную пожилую бабу, от которой разило чесноком и которая все-таки умудрилась их обжегить; и посрамленный скептик-фокусник, которому «дух-руководитель», говоривший через прелестную юную Марджери, велел перестать шарить в подкладке халата, а следовать вверх вдоль левого чулка, покуда не достигнет голой ляжки, – на теплой коже которой он ощутил «телепластическую» массу, наощупь необычайно напоминавшую холодную сырую печенку.

7

Я взывал к плоти, к развращенной плоти, чтобы отринуть и опровергнуть возможность бесплотного существования. Увы, все эти заклинания только усилили мой страх перед призраком Цинтии. Атавистический покой пришел только на рассвете, и когда я забылся, солнце сквозь рыжие гардины проникло в мой сон, который весь как-то был полон Цинтией.

Я был разочарован. Находясь теперь в безопасной крепости бела дня, я признался себе, что ожидал большего. Она, мастер ясных как стекло подробностей – и вдруг такая расплывчатость! Я лежал в постели, ревизуя свой сон и прислушиваясь к воробьям на дворе: почему знать, если записать на ленту гомон этих птиц и потом пустить запись вспять, не получится ли человеческая речь, не раздадутся ли внятные слова, точно так же как эти слова превратятся в щебет, если играть ленту наоборот? Я принялся перечитывать свой сон сзади наперед, по диагонали, снизу вверх и сверху вниз, пытаюсь во что бы то ни стало уловить в нем что-нибудь цинтиеобразное, необычное, какой-нибудь намек, который должен ведь там быть.

Сознание отказывалось соединить ускользающие линии какого-то изжелта-облачного,

томительного цвета, иллюзорные, неосязаемые. Тривиальные иносказания, идиотские акростихи, столоверчение – что, если теопатическая чушь и колдовство обладают таинственной многозначительностью, едва намеченной? Я сосредоточился, и видение истаяло, ложно-лучезарное, аморфное⁹⁹.

Итака, 1951 г.

⁹⁹ Вот дословный перевод последнего пассажа:

Сознание не многое могло различить. Все казалось размытым, изжелта-мутным, не было ничего осязаемого. Ее безтолковые акростихи, жеманная уклончивость, ее теопатии — каждое воспоминание образовывало зыбь таинственного смысла. Все казалось желтовато-размытым, обманчивым, утраченным.